Т. А. Шумовский

ВОСПОМИНАНИЯ АРАБИСТА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Серия «Научные биографии
и мемуары ученых»

Т. А. ШУМОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ АРАБИСТА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Ленинградское отделение
Ленинград • 1977

Книга содержит воспоминания о крупнейших советских востоковедах — академиках И. Ю. Крачковском и И. А. Орбели, членекорреспонденте АН СССР Н. В. Юшманове, заслуженном деятеле науки УССР А. П. Ковалевском и других ученых. Подробно рассказано о творчестве малоизвестного арабского поэта XV в. Аррани. Приведены переводы его стихов.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Ш $\frac{10601\text{-}205}{054(02)\text{-}77}$ 51-75 НПЛ

ОТ АВТОРА

Спросили Александра Македонского: «Почему наставника своего, Аристотеля, почитаешь ты более, чем царя Филиппа, отца своего?» — «Отец, — отвечал Александр, — воспитав мое тело, низвел меня с неба на землю; но Аристотель, воспитав душу мою, поднял меня от земли в небо».

Восточное предание.

Оглядываясь на пережитое, оценивая пройденный путь, я вижу прежде всего своих учителей и мысли, возникшие в результате общения с ними. Николай Владимирович Юшманов, прошедший за свою короткую и трудную жизнь путь от рядового красноармейца до всемирно известного лингвиста, и Игнатий Юлианович Крачковский, создатель и глава советской школы арабистов, руководили моей специальной подготовкой, вложив в нее каждый частицу своей души. Однако не только они были моими наставниками. Научное творчество моих старших коллег, часть из которых я уже не застал в мире живых, но другая часть которых подарила мне еще и радость личного общения, было вторым другом моих исканий. Знания, добытые человеческим умом в областях за пределами арабистики, дали, даже при общем знакомстве с ними, перспективу, необходимую для работы в любом направлении науки, каким бы узким оно ни казалось. Наконец, некоторый практический опыт, которым я обязан встречам со многими людьми разных занятий и устремлений, позволил мне трезво оценить значение своего труда для растившего меня общества. Всем встреченным мною людям и книгам я и хотел бы посвятить эти страницы, где рядом с источниками лежат резуль-

таты, т. е. воспоминания о тех или иных учителях перемежаются с мыслями, пришедшими в процессе самостоятельной работы, и с картиной тех предварительных исследований, которые благодаря полученной школе мне удалось выполнить.

Жанр мемуарной литературы в арабистике, к сожалению, еще не разработан в достаточной мере, и блистательная книга академика И. Ю. Крачковского «Над арабскими рукописями», выдержавшая пять изданий, все еще остается единственным образцом своего рода. Жизнь не отпустила мне столь большого научного опыта, каким обладал Игнатий Юлианович, и это, естественно, осложняет мою авторскую задачу. Утешение, быть может, заключается лишь в словах, которые Игнатий Юлианович когда-то написал мне: «нужно писать не много, а о многом»; ведь те немногие темы, которыми я занимался и о которых говорится в предлагаемой книге, таят в себе, как представляется, многое для размышлений, для определения истинного места арабской культуры в сокровищнице мирового прогресса.

Читатель да не посетует, что в книге арабиста подчас представлен не «чисто» арабистический материал: грузиноведение, иранистика, индология — все взаимосвязано, и я всегда старался показать прямую или умозрительную связь того или иного явления с предметом моих специальных занятий. Буду рад, если книжка найдет своего читателя или, по крайней мере, если при неизбежных несовершенствах она явится толчком для появления более удачного произведения о людях и свершениях советской арабистики.

Говоря о периоде после И. Ю. Крачковского, я ограничился описанием своей работы и связанных с нею творческих переживаний. Материал о деятельности ленинградских арабоведов новейшего времени содержится в моей статье «Арабистика (1917—1968)», помещенной в сборнике «Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР» (М., 1972, с. 281—304).

Нужно, однако, выделить ряд столь серьезных арабистических свершений, осуществленных в последние десятилетия, как публикация «Арабские источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары», где подготовка текстов и переводы выполнены В. В. Матвеевым и

Л. Е. Куббелем; издание перевода морских рассказов X в. Бузурга ибн Шахрияра (переводчик Р. Л. Эрлих), подготовленное И. М. Фильштинским, неутомимая деятельность которого подарила нам немало ценных работ в области изучения арабской художественной литературы; исследование О. Б. Фроловой, посвященное литературным процессам в современном арабском мире; публикация «Геодезии» ученого-энциклопедиста аль-Бируни (973—1048), принадлежащая П. Г. Булгакову; разыскания в сфере арабско-испанской исторической литературы, проведенные К. А. Бойко; диссертация Т. М. Сипенковой по ранней истории халифата; лингвистические работы Ю. Н. Завадовского и Г. Ш. Шарбатова. Эти свершения свидетельствуют, что дело основоположников советской арабистической школы — Игнатия Юлиановича Крачковского и плеяды его старших учеников — не угасло с их уходом из жизни, а и ныне продолжает рождать живое слово науки.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЮШМАНОВ — ЧЕРТЫ ОБЛИКА

Еще гремели над Россией раскаты октябрьского грома, возвестившего социалистическую революцию, а в Смольном Владимир Ильич Ленин и юный радиотелеграфист-переводчик Военно-революционного комитета Николай Юшманов в краткие часы отдыха вели разговор о всемирном языке коммунистического будущего. По словам Николая Владимировича, у которого пятнадцать лет спустя я начал учиться арабскому языку, таких бесед было несколько, и чем больше с течением лет я узнавал моего учителя, тем яснее мне становилось, что именно давние встречи в Смольном предопределили в нем его облик ученого-гражданина, ученого-революционера: первоклассный семитолог и африканист, вошедший в историю востоковедения своими изящными филологическими миниатюрами, где за лаконичными, математически отточенными фразами вставали широкие наблюдения и оригинальные выводы, сам Юшманов с гордостью и вполне основательно считал себя не просто востоковедом, а «лингвистом широкого профиля с практической целенаправленностью творчества». Это значило, что наряду с арабским и африканскими он занимался языками американских индейцев и эскимосов, мальтийским и скандинавскими языками, но прежде всего — теми, в которых его знания могли принести немедленную пользу обществу. Поэтому — об этом я неслучайно вспомнил в дни полувекового юбилея СССР — Юшманов конца 20-х гг., перегруженный академическими обязанностями, активно работал и в Центральном Комитете Нового Алфавита. Здесь, в творческом коллективе, он кропотливо разрабатывал научно обоснованные азбуки и грамматики для бесписьменных народов окраин нашей страны. В 30-х гг. он явился одним из основателей советской

школы семитологов и африканистов, вкладывая в это новое дело максимум знаний и энергии и в то же время оставаясь скромным и неприметным секретарем кафедры. Николай Владимирович отечески любил каждого студента, пришедшего на факультет по велению сердца; своими лекциями он будил новые мысли, учил дерзать — и искренне радовался, когда находил проблески самостоятельной мысли и практическую направленность в первых работах своих учеников. Каждому из них он присваивал какой-нибудь лестный эпитет, еще не совсем заслуженный, но ко многому обязывавший; меня он называл «будущим красным Бартольдом», и это смущало и окрыляло, ибо имя умершего в 1930 г. академика В. В. Бартольда, проницательного историка и тонкого знатока многих восточных языков, связывалось в моем представлении с одной из высочайших вершин русского востоковедения, стать вровень с которой было почти недостижимой мечтой.

Николай Владимирович очень любил русский язык; ему принадлежит такое оригинальное творение, как «Грамматика иностранных слов в русском языке», где собран и критически рассмотрен громадный и уникальный материал, которым никто столь специально не занимался. И рядом «Грамматика литературного арабского языка», «Строй языка хауса», «Двуязычные учебники индейцев навахо», «Арабские элементы в узбекском языке», «Экстранормальная фонетика», отзыв о диссертации по полонистике, исследование диалекта арабов СССР — широкая палитра тем, и всюду один и тот же автор, мысль которого, вечно пытливая, сметала грани стран и веков.

И любил он великий город на Неве, в котором провел всю жизнь, где многое было ему дорого и памятно. Судьба отпустила ему всего полвека; он умер на пороге новых свершений, сломленный неизлечимой болезнью, обострившейся вследствие эвакуации в годы ленинградской блокады. До последнего своего дня он оставался в строю науки, как был в строю красноармейцев до конца гражданской войны.

Академик И. Ю. Крачковский так сказал о Юшманове, своем давнем ученике, только что проводив его в могилу:

«Он жил в науке, но преподавателем был для немногих; слишком он был углублен в свои мысли, не остав-

лявшие его ни на минуту... Показательны в этом смысле были и памятные многим доклады, когда он чувствовал себя свободно. Это были те же мысли вслух, какое-то нескрываемое иногда изумление перед тем, как это интересно и неожиданно выходит. Точно фокусник, он при удачном выводе иногда невольно прищелкивал пальцами. И тем не менее, при таком внешнем ореоле оригинальности, а временами и чудаковатости, слушатели чувствовали, что перед ними творится настоящее научное дело, что перед ними научный талант, талант в своей области большой и очень своеобразный. А теперь некого нам так слушать, нет того, за ходом мысли которого можно было с таким высоким наслаждением, так плодотворно для каждого наблюдать».[1]

НАД ЛЕНИНСКОЙ КНИГОЙ

В начале июня 1972 г. ко мне пришел молодой человек. Его смуглое, с крупными чертами лицо было взволновано, большие черные глаза то меркли от тоски, то светились надеждой.

— Ас-салям алейкум, — улыбнулся я, признав в нем араба, — здравствуйте! Что случилось?

Вместо ответа он протянул записку от заведующего кафедрой Ленинградского университета. Меня просили выступить первым оппонентом на защите, назначенной на 19 июня. Диссертант — египетский стажер. Тема его работы — «Особенности перевода с русского языка на арабский современной общественно-политической литературы на материале книги В. И. Ленина „Государство и революция„».

— Но я всю жизнь занимался средневековыми арабскими рукописями... — сказал я раздумчиво. — И потом этот срок, 19 июня, остается всего две недели...

— Пожалуйста, читайте записку до конца, — попросил гость.

Там стояло, что прежний оппонент, имя которого уже напечатано в автореферате, внезапно прислал извещение

[1] Крачковский И. Ю. Избр. соч., т. V. М.—Л., 1958, с. 452.

о своей болезни. «Положение критическое: в июне ученый совет соберется в последний раз перед каникулами, а в августе коллеге Мамду́ху Му́стафе надо возвращаться на родину...».

— Оставьте мне вашу диссертацию, — сказал я.

* * *

Хожу, думаю.

...Разбирал, скандировал, переводил арабские стихи пятнадцатого века... Тринадцатого... Одиннадцатого... Восьмого, седьмого... Даже шестого — еще доисламского — столетия, давшего поэзии целое созвездие блистательных имен. Одна аль-Ханса чего сто́ит! Оды томлениям и радостям любви, элегии, запечатлевшие скорбь и смирение давно ушедших людей, сатиры, полные злой игры слов, — сколько их смотрело мне в глаза с древних страниц! Читал средневековые арабские сочинения по грамматике, философии, географии — и забытые лоции, уже пять веков не обращавшие на себя ничьего внимания... Сколько лет ушло на разбор этих уникальных морских трактатов и сколько откровений они подарили! Но вдруг — «Перевод с русского на арабский современной общественно-политической литературы»... Книга Ленина... Через две недели, затянутый в строгий черный костюм, стоя за университетской кафедрой, я должен глубоко, всесторонне и с полной мерой политической ответственности оценить работу иностранного коллеги.

Есть от чего волноваться не только ему.

...Но почему перевод современной общественно-политической литературы — это «вдруг»? Разве скрупулезный разбор средневековых текстов — самоцель, разве медиевистика — лоно, куда можно уйти от действительности? Я никогда не считал так. В истории востоковедения бывали случаи, когда иные исследователи уходили в средневековье как в спасительную пещеру: ни тебе резких звуков, ни свежего ветра, краски приглушены, мысли текут ровно и плавно. «Дела давно минувших дней»... Читаешь иное исследование, порой даже незаурядное, и думаешь: да, наверное, все это так и было, но для чего потревожены покойники? Какие рекомендации титулованный автор дает нашему сегодня, какая нам,

живым, борющимся людям двадцатого века, польза от его труда? А ведь наш труд, чему бы ни был он посвящен, обязан приносить пользу обществу, ради этого государство создало нам, ученым, предельно оптимальные условия. Прописная, в общем, истина, но как часто приходится о ней вспоминать... И тут думаешь — да, радостно об этом думать, и все пережитые бури борьбы за новую концепцию отходят на задний план, — что эта концепция, выведенная в результате пристального исследования уникальных древних текстов, позволила взглянуть на арабов как на морскую нацию и служит упрочению их национального достоинства в современном мире. А отсюда — упрочение авторитета нашей науки, нашей страны.

...Потом: как можно отказаться от темы «Перевод с русского языка на арабский...», если я арабист? Не будем уж говорить про минувшее столетие, когда каждый серьезный ученый-ближневосточник считал для себя необходимым знать по крайней мере три главных языка своего региона — арабский, персидский, турецкий, — а специалист по Древнему Востоку владел материалом разных языков этой эпохи; таковы, например, Сильвестр де Саси и Рено во Франции, Френ, Дорн, Сенковский, Болотов, Тураев — у нас в России. Но даже в двадцатых-тридцатых годах нашего века были такие разносторонние знатоки — советские академики Марр, Бартольд, Коковцов, Струве... А иранист Бертельс? А кавказовед Генко?... Арабист Крачковский читал университетский курс «Введение в эфиопскую филологию», его ученик Юшманов был и первоклассным африканистом, а другой ученик, Эберман, кроме арабистики, успешно занимался персидской поэзией. Мне представляются неестественными обозначения: «кандидат (доктор) исторических наук», «кандидат (доктор) филологических наук». Разве филология — не историческая наука? Нет истории без филологии, без критического анализа текстов, памятников той или иной эпохи: ведь именно филологический анализ, прежде чем «законные» исторические дисциплины — нумизматика, сфрагистика, эпиграфика и др. (где тоже участвует филология), — позволяет сделать исторические выводы. В этом убеждают работы наших выдающихся историков: Бартольда, Тарле, Нечкиной, Панкратовой, — мало ли примеров! Но — теперь это видно яснее — нет и филоло-

гии без исторической цели. Разве пушкиноведение или Словарь русского языка не служат задачам изучения русской истории XIX века? Филологические работы таких востоковедов, как Марр или Кашталева,[1] тоже привели к отчетливым заключениям в области истории.

Узкая специализация неотвратимо ведет к утрате перспективы, к ослаблению чувства реального, к гипертрофированным оценкам той или другой темы, к субъективной, несправедливой оценке чужого труда и, в конечном счете, к появлению малополезных опусов со скоротечной жизнью в науке.

Арабиста должно интересовать *все* арабское. Нет нужды добавлять, что он должен раскрывать историю арабов в перспективе истории всемирной. Мой учитель Игнатий Юлианович Крачковский, посвятивший свою жизнь исследованию средневековых арабских рукописей, явился, вслед за незаурядным литератором и востоковедом А. Е. Крымским, первооткрывателем новой арабской литературы. А 13 июня 1936 г. он оппонировал на защите диссертации о крупном деятеле национально-освободительного движения Египта — Му́стафе Ка́миле.

Жизнь продолжается. 19 июня 1972 г. историк средневековых арабов выступит на защите филологической диссертации о переводах книги Ленина.

* * *

...«Ад-да́уля вас-са́ура»... «Государство и революция».

Я раскрываю том Ленина. Он знаком не только по студенческим и аспирантским экзаменам. Каждый раз перечитываешь эти страницы по-новому, и неизменно они будят и привычные и еще не посещавшие тебя чувства. Почему? Потому что вечно на этих страницах свежее дыхание революционной бури. В каждом слове Ленина — биение сердца революции. «Каждое слово Ленина стреляет», — сказал один из сподвижников Вла-

---

[1] К. С. Кашталева (1897—1939) — исследовательница терминологии Корана и отражения ее в русской литературе.

димира Ильича. А ты от книги к книге, от опыта к опыту зреешь и в то же время остаешься самим собой, вот откуда это переплетение знакомых и новых ощущений.

Рядом с русским оригиналом на мой стол ложатся его арабские переводы — наши, изданные в Москве, и зарубежные, восточные. Здесь и диссертация, и автореферат. Надо скрупулезно проверить наблюдения и выводы каирского коллеги. И надо помочь ему «дотянуть» каждую удачную деталь, каждую счастливую мысль до полного логического завершения, до блеска.

Диссертация о переводах. Что же такое перевод?

Можно, не доверяя своим знаниям, добросовестно выискать в подробных словарях все нужные слова и, следуя точным правилам грамматики, построить иноязычную копию оригинала. Перевод готов!.. Но нет, это всего лишь мертвое зеркало заданного текста. — «Что же вам нужно? — нетерпеливо спрашивает иной востоковед. — Ведь все на месте, все соблюдено. Читатель хочет знать, о чем идет речь в подлинном тексте, — пожалуйста, он это узнал благодаря моему переводу»... Голубчик, повторяю вам, это не перевод. Переводом вы вправе назвать лишь такое воспроизведение оригинала на другом языке, которое пробуждает в читателе *те же и такого же накала* эмоции, что и подлинник. Очень правильной, слишком правильной, но безжизненной копии это, конечно, не под силу. Почему? Потому что она пользуется лишь словами и грамматическими правилами языка перевода, т. е. его механическими средствами, и не учитывает его красок, аромата, гармонии, которые всегда своеобразны. Отсюда и безжизненность, не правда ли? Значит, перевод может быть выполнен не ремесленником, даже очень искусным, а лишь художником языка. И еще это значит, что нет специальных словарей и грамматик для переводчика, и вряд ли возможно их составить. Да и нужны ли они, если речь идет о художнике? Он пользуется обычными пособиями, а жизнь приходит в перевод от его культуры. Эта культура заключает в себе то, чего нет ни в каких справочниках, — интуицию, реминисценции, знание законов гармонии и деталировки. Она необходимо подразумевает и уважение к избранному автору, позволяющее достаточно глубоко проникнуть в недра его внутреннего мира.

Жизнь в науке, не очень большая, но насыщенная трудом и событиями, показала мне много образцов перевода, действительных и мнимых; отсюда с годами выработался определенный уровень критичности, позволяющий, без оглядки на авторитеты, более или менее четко представлять себе картину предложенного образца и выносить самостоятельное суждение. Сейчас, когда я работал над ленинской книгой, мне были ясны следующие положения: Ленин обращал свое слово к простым людям; революция победила потому, что его идеи стали идеями масс; он пользовался емкой и точной народной речью, вводя в политический обиход новые и новые самоцветы из сокровищницы русского языка, и вместе с тем не чуждался иноязычных крылатых выражений. На этих принципах должен быть построен и каждый перевод его работ: не книжная ученость, а живая речь на данном языке, насыщенная разнообразными фигурами яркого стиля, речь, обращенная от сердца к сердцу.

* * *

19 июня. Старое здание на Университетской набережной. Здравствуй, «альма матер»... Каждый стертый камень лестниц, каждая аудитория напоминают о невозвратной юности. В этих стенах Юшманов учил меня арабским буквам; здесь он рассказал мне о встрече с Лениным; здесь, на его уроках, раскрывалась мне этика советского арабиста.

Первый этаж. Малый актовый зал...

* * *

— Вопросы перевода марксистской общественно-политической литературы на арабский язык приобретают особенно большое значение сейчас, когда передовые арабские страны, добившись национальной независимости, уверенно и неотвратимо становятся на социалистический путь развития. От того, с какой степенью политической ответственности и научной обоснованности произведения Маркса и Энгельса, живая мысль и страстное слово Ленина будут переданы арабскому читателю, зависит, в какой мере передовые идеи нашего времени ста-

нут достоянием не только ума, но и сердца арабских народов. Жизнь поставила перед работниками идеологического фронта, и не в последнюю очередь перед филологами, задачу предельно использовать богатый арсенал арабского языка для того, чтобы каждое переводимое произведение вошло в состав духовных ценностей Арабского Востока. Диссертация молодого египетского ученого Мамду́ха Сайда Му́стафы, посвященная особенностям перевода политической литературы и представляющая, по существу, первый опыт раскрытия этой темы в применении к арабскому языку — актуальное и оригинальное явление, и нет сомнения, что этот опыт окажет существенное влияние на деятельность будущих переводчиков.

Автор широко использовал общую литературу вопроса и, разобрав ее критически, показал себя вдумчивым и инициативным исследователем. Он проделал весьма скрупулезную работу, слово за словом сличив московский (1967 г.) и каирский (1970 г.) арабские переводы книги В. И. Ленина «Государство и революция». Более того, в диссертации представлено сличение четырех переводов издательства «Прогресс». Большинство предложенных автором рекомендаций, особенно в разделе «Неточности в переводах», уместно и несомненно послужит повышению общей культуры будущих переводов. Все это говорит о научной добросовестности диссертанта, о том, что его рассуждения покоятся на достаточно надежной основе...

Коллега Мамдух сидит против моей кафедры. Заметно нервничая, он то быстро пишет что-то на родном языке — справа налево, то порывисто поднимает голову и, не мигая, смотрит на меня. За годы стажировки в Ленинграде он порядочно преуспел в русском. При последних моих словах смуглые щеки заливаются счастливым румянцем.

— Необходимо, однако, чтобы автор учел следующие замечания...

Румянец сбежал, диссертант напрягся — автору хорошей работы замечания желанны и в то же время трудно их слушать: столько ушло сил, а совершенство не достигнуто, хотя сам он уже свершил свой «высший суд», представив работу на соискание степени. Вместе с ним настораживаются его земляки-болельщики, непременно

присутствующие на защите каждого соотечественника; некоторые из них начинают придирчиво следить, как я пишу на доске арабские слова и фразы.

— Прежде всего: «пролетариат» нельзя переводить как «ат-таба́кат аль-а́миля» (более точно последний термин должен звучать по-арабски как «таба́кат аль-умма́ль»). Почему? Потому что арабское обозначение соответствует русскому «рабочий класс». А разве понятия «пролетариат» и «рабочий класс» равнозначны?

Нет, они не равнозначны. Пролетариат — это один из двух основных классов капиталистического общества, класс эксплуатируемых буржуазией наемных рабочих, лишенных собственности на средства производства. Латинское proletarius имело два значения: во-первых, «простонародный»; во-вторых, этим термином обозначался римский гражданин, принадлежащий к неимущему сословию, хотя юридически и свободный. Свобода эта для пролетария была вот какова: согласно реформе Сервия Туллия, римского царя в шестом веке до нашей эры, все имущие граждане Рима были разделены на пять разрядов; в первый вошли те, чья собственность оценивалась в сто тысяч ассов и выше, в последний — имевшие имущество на сумму одиннадцать тысяч ассов. Каждый разряд выставлял для защиты государства определенное количество вооруженных центурий (т. е. сотен всадников либо пехотинцев) — то число, которое позволял достаток граждан, входивших в этот разряд; соответственно этому распределялись места в народном собрании. Пролетарии, «простонародье», не обладавшие и минимальным имущественным цензом, остались за бортом пяти разрядов, однако им предписывалось снаряжать одну центурию, за которую они имели один голос в собрании. А граждане первого разряда, выставлявшие 80 пехотных и 18 конных центурий, располагали 98 голосами, т. е. большинством из общего числа 193 «представителей народа». Далеко ли ушло от старых римских времен положение пролетариата в нынешних капиталистических странах? А советский рабочий класс владеет средствами производства и весьма достойно представлен в Верховном Совете страны. Вот почему, коллега Мамдух, нельзя согласиться с вашим переводом.

— Это уже... Как сказать? Дакика... — отозвался Мамдух.

— Тонкость, вот именно. Но бьющая в глаза тонкость, и поэтому весьма существенная. Переводчик должен быть осторожен как хирург, и начитан, как философ. Вот, смотрите, еще одно слово: «империализм». По-вашему, его можно передать через «аль-истимáр», но ведь последнее значит «колониализм». Опять перед нами пара несовпадающих понятий. Стремление к приобретению источников сырья и рынков сбыта за пределами метрополии — лишь одна из особенностей антагонистической формации — капитализма, перерастающей в империализм. А что такое империализм? Высшая и последняя стадия капитализма, характеризующаяся господством крупных монополий. Ленин писал, что «...по своей экономической сущности империализм есть монополистический капитализм».[2]

Бежит, бежит перо диссертанта, справа налево, справа налево, страница блокнота быстро покрывается узорной вязью.

— Теперь вот что я хотел сказать. Вы правильно пишете на страницах своей работы: «В переводе недостаточно передать идею произведения; для лучшего его понимания, усвоения следует донести до читателя впечатляюще живую ленинскую мысль». Но тут существует опасность — стремясь передать подлинный текст возможно точнее, можно впасть в буквализм и принести в арабский язык строй другого, что не будет способствовать точному пониманию исходного текста.

Перевод должен звучать по-арабски естественно, тогда он выполнит свою функцию успешно. Ведь каждый язык имеет свою гармонию, о которой всегда следует помнить переводчику. В частности, арабский язык стремится к лаконизму форм.

Между тем, коллега Мамдух, ряд ваших рекомендаций утяжеляет стиль перевода. Ну вот, например, выпишем на доску предложенное вами «аль-аби́д аль-уджара́ аль-мухаддиси́н». Замечу, кстати, что окончание «ин» в последнем слове — не к месту, это влияние диалекта, а в литературном языке должно быть «ун»; слово «му-

---

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 27, с. 420.

хаддис» тоже неточно, здесь лучше употребить глагол не второй породы, а десятой: «мустахдас». Но дело не в этом. Смотрите: «аль... аль... аль...». Три артикля подряд! Разве так говорят по-арабски?

— Не говорят. Но я хотел точно передать ленинское выражение: «современные наемные рабы».

— Однако получилась неточность, перед нами буквализм, о котором мы уже с вами говорили. Буквализм, который режет ухо, воспринимается как инородное тело в родном языке и не проникает в душу человека. Почему вы не хотите сказать: «аби́д аль-у́джра аль-мустахдасу́н»? Освобождаемся от излишнего артикля — раз; сокращаем неудобоваримый двенадцатисложный организм до десяти слогов — два. Но главное — применяем столь естественную для арабского форму status constructus, сопряженного состояния. Разве это не облегчит восприятия ленинской мысли? А смысл остается тем, какой нужен.

Бежит перо диссертанта. Я вижу, как он переписал с доски вариант со status и дважды его подчеркнул.

— Дальше. «По сути дела...». У вас предложено «фи хаки́кат аль-амр». Правильно, однако снова отдает буквализмом. Почему не сказать: «фи ль-джа́вхар»? Это лаконичнее и привычнее для араба. А вот — «в настоящее время». Ваш перевод «фи ль-вакт аль-ха́дыр» правилен, но тяжеловесен. Лучше сказать просто: «фи ль-ха́дыр». Опять эта золотая арабская лаконичность, и смотрите, как изящно обогащен артикль. Ну, а здесь... Здесь, где выражение «вышедший в свет» (об издании) переведено вами как «ха́ридж фи н-нур», вновь буквализм, ведь существует короткое и точное слово «маншу́р»...

Мелок извивается по черному полю доски. Справа налево, справа налево. Коллега Мамдух уже не пишет, а напряженно смотрит на доску. Он обдумывает, действительно ли можно передать на его родном языке сложные фразеологизмы так ясно и просто, неужели все это легче, нежели ему казалось? Но как нелегко дойти до этой простоты...

А я, стерев с доски несколько старых примеров и написав ряд новых, затем перехожу к вопросу о соотношении литературного и разговорного языков, мимоходом упоминая Мольера, которого когда-то переводили на

египетский диалект, и средневековую принцессу Мира Бай, слагавшую поэтические гимны во славу Кришны на брадже — ответвлении западного хинди. Потом советую диссертанту соблюдать осмотрительность в применении еще одной предложенной им рекомендации, призывающей пользоваться кораническими стихами для перевода выражений библейского происхождения в современной политической литературе: Коран — памятник совсем другой эпохи, других исторических условий, нежели Библия.

Время идет. Смеркается. Сказано, по существу, все. Я стираю с пальцев мел и возвращаюсь на кафедру.

— Оценивая диссертацию Мамду́ха Му́стафы в целом, я нахожу, что отмеченные неточности не ставят под сомнение ее достоинств, перечисленных выше: частные погрешности, даже если подчас они более или менее значительны, неизбежны в столь большой и самостоятельной работе молодого автора...

Вдруг у меня перехватило дыхание. Нет, это не от усталости после столь ответственного выступления, это скорее от волнения: вот, сперва сказал о большом значении выполненной работы, отметил ее положительные стороны; потом придирчиво «разносил» ту или другую ученую страницу; теперь настало время взглянуть на чаши весов. И как волнующе радостно на душе, когда с чистой совестью, с гордостью за другого ученого, можно сказать долго жданные им слова.

Хорошо, что кто-то поставил на кафедру стакан воды. Я залпом выпиваю и заканчиваю:

— Исследование, выполненное египетским ученым на высоком научном уровне, является существенным вкладом в современную арабскую филологию. Диссертант, столь успешно начинающий этим исследованием свой путь в науке, вполне заслуживает высокой степени кандидата наук. О присуждении ему таковой я и ходатайствую перед ученым советом.

* * *

Потом говорила молодая филологичка с кафедры русского языка. Это было ее первое оппонентское выступление. Большие серые глаза за длинными ресницами

источали непроницаемую строгость, но тонкое с нежным овалом лицо рдело от волнения.

Потом на кафедру поднялся диссертант. В его горячей, нервной речи мешались удовлетворение и усталость. Черные волнистые волосы метались по влажному лбу. Да, он со многим согласен, а кое о чем еще подумает, есть некоторые предметы для спора. Мысли над ленинской книгой будут продолжаться.

Правильно, так и должно быть.

Ученый совет единодушно проголосовал за.

Аплодисменты, поздравления, цветы. Растроганные земляки — кое-кто из них смахивает невесть откуда набежавшую слезу — и русские друзья окружают счастливого виновника торжества. Улыбки, светлые улыбки гордости за триумф нового солдата науки.

А он мягко раздвигает шумящий круг людей, порывисто подходит ко мне и крепко, обеими руками сжимает мою руку.

— Спасибо, профессор. За все, за все — за тот первый день, когда я пришел к вам, и за сегодня, за ваши труды и советы. Никогда не забуду вас. Ашкурукум шукран джазйлян, очень благодарю вас.

— Спасибо не мне, а моим учителям. И стране нашей: она учила вас и меня.

АРАБСКАЯ ПОЭМА О СТАЛИНГРАДЕ

В конце сороковых годов, живя в Новгородской области, я оживленно переписывался с Игнатием Юлиановичем Крачковским. Чаще всего обсуждались мысли, возникавшие у меня в процессе работы над кандидатской диссертацией. Но перепиской не всегда можно было заменить личное общение, и время от времени я наезжал в Ленинград. По молодости лет хотелось мне сразу «объять необъятное», и подчас это приводило к недостаточной проработке деталей в уникальной рукописи, лежавшей в основе исследования. Опытная рука учителя мягко, но настойчиво направляла работу в нужное русло. Шаг за шагом я постигал таинства филологической акрибии и нередко слышал: «Ну, теперь на этих страницах у вас все более или менее благополучно». И тут же

следовали слова: «Но не забудьте посмотреть свой опус лет через пять-десять, потом спустя еще некие годы: в каждой работе, даже очень хорошей, всегда есть что́, с течением времени, улучшить; ведь опыт с годами приумножается». Я уходил окрыленный и, как мог, старался пробиться к совершенству.

Однажды, когда мы поговорили о диссертации и я, ответив затем на подробные расспросы Игнатия Юлиановича о моем житье-бытье на берегах Мсты, уже собрался уходить, он вдруг достал с полки томик в яркой обложке и, протягивая его мне, сказал:

— Вы не хотели бы посмотреть эту книжку? Ее мне прислал автор, египетский поэт А́ли́ Махму́д Та́ха. Здесь собраны его разные поэмы, и среди них — о сталинградской эпопее. Любопытно, что о современном нам событии он пишет в стиле классической касы́ды, совсем так, как писали тысячу лет назад...

Увидев, что я торопливо переписываю название на карточку, добавил:

— Напрасно пишете, в библиотеках ее пока нет; это единственный экземпляр в стране. Если хотите, можете взять его в свои Боровичи, чтобы почитать не спеша. Вернете в следующий приезд. Кстати, пусть ваши мысли отдохнут от диссертации на других сюжетах.

Улыбнулся, и мы расстались.

* * *

Сборник назывался «Цветы и вино». Не легкомысленно ли заглавие для тем, представленных в нем? Достаточно одной поэмы о Сталинграде, чтобы вся книга окрасилась в суровые и мужественные тона. Вчитавшись, я понял, какой смысл вкладывал поэт в избранное название: цветы — это подвиги, ярко вспыхивающие на спокойной ткани обыденных дел человечества; вино — это повесть о них, будоражащая умы современников и потомков. Не все части сборника — кроме стихов о Сталинградской битве, здесь нашли место и поэмы о воспетой Пушкиным Клеопатре, а также о Мусе ибн Тарике, давшем имя Гибралтару — были равноценны по эмоциональному и психологическому накалу. Огненная страсть, связавшая Антония и Клеопатру (хотя она в свое время

вдохновила даже Шекспира), не могла иметь исторического звучания такой силы, как переживания арабов, впервые пересекших Гибралтарский пролив; но последние уступали драматизму событий, развернувшихся вокруг волжской твердыни, торжеству и значению достигнутой там победы.

«Защита родной земли, — писал египетский поэт в прозаическом введении, — высшее из того, что воспевает поэзия и увековечивает искусство. Рассказывая об осаде и обороне Сталинграда, мы сталкиваемся с редкостным героизмом и с исключительной доблестью. Ни одного сражения в этой войне нельзя оценить обычной мерой; тревога и слава в высшем своем выражении переплетаются в нем. Две могущественные армии не переставали бороться друг с другом внутри городской черты за каждую улицу и жилище, за каждый этаж, и героический город пребывал среди разрухи и опустошения более полугода, пока, после кровавого единоборства, равного которому не знает история, одна из армий не исчезла полностью.

Поэтому неудивительно, когда поэт связывает осаду этого мужественного города и оборону его защитников с осадой Трои и с тем, что вписала в историю храбрость людей, твердо прошедших через ужасные сражения и воспетых Гомером в бессмертной „Илиаде“».

Я перечитывал эти слова, и они, взволнованно приподнятые, вводили меня в замысел и русло поэмы. Я стал читать поэму, и подобно тому, как при чтении истинных образцов поэзии на родном языке слышишь в себе музыку, которая должна их сопровождать, скорбно-торжественные арабские слова, наполненные болью и гордостью, стали медленно переливаться во мне в строки перевода. И я уже не хотел и не мог остановиться — ходил, думал, писал, зачеркивал, думал, писал, пока не закончил работы.

... Как лава вулкана, они потекли на тебя,
Но выстоял дух твой могучий и ты, Сталинград.
В ворота твои ворвались, разрывая, рубя,
Но ты не упал, а устроил грабителям ад.
Поведай дела одного лишь военного дня —
И ужас состарит железо и пламя огня.

Скажу о героях эпох — что проходят от них
Величье и слава к сынам легионов твоих.

Ты видишь ли ныне, чарующий песней Гомер,
Тяжелых и славных боев величавый пример?
Из новых героев тебя вдохновил бы любой.
Как строки для песен, они восстают пред тобой.

О, сколько Ахиллов, влюбленных в приволжскую степь!
Отброшен напавший, осады разорвана цепь.
Ахилл!.. Не поэмы словами о пафосе дней,
Он реки струил благородною кровью своей,
Ведь родина-мать повелела на том берегу
Защитнику чести своей не сдаваться врагу.

Он по полю битвы ходил, поражая врагов,
И поле дрожало от звонких и тяжких шагов.
В анналах истории тех, кто отчизну спасал,
Он гордою славой страницу свою подписал.

Повсюду отыщешь могилы защитников ты:
Где шепчутся травы и тянутся к солнцу цветы,
В суровых сугробах, под саваном скорбных снегов,
У вихрем раздетых, размытых дождем берегов.

Угасли за то вы, чему посвятили труды:
Чтоб стали стволами побеги и сладкими зрели плоды.
Телами своими вы путь преградили врагу,
Железом оделись живые на каждом шагу.
И крепостью стал окровавленный волжский поток:
К востоку врагам не пройти, хоть и близок восток.

...Во вражьи отряды метал он железо и страх,
Пока не развеял гигантскую армию в прах.
Он рухнул, отмстивший, тогда, обессилев от ран,
И гордой улыбкой победы он был осиян.
Над пеплом пожарищ, как солнце в небес синеве,
Лавровый венец засверкал на его голове.

О, город героев, чье сердце ковали бои!
Все пережил ты и свободные люди твои.
Сказать мне — любимцы войны или духи они?
Сказать ли, что судьбы иль боги земные они?

Кровавому хищнику горло сдавили бойцы.
А даже стихии во все разбегались концы,
Когда он шагал по просторам униженных стран!
Ты помнишь, как хищник, победами легкими пьян,
Хвалился: «над зноем и холодом властвуем мы»,
Пока не изведал твоей смертоносной зимы!

Венец поселений! Твой подвиг, сверкнувший из тьмы,
Заставил задуматься наши людские умы.

Иль жизнью волшебный тебя напитал эликсир?
Иль ты — это целый чудесно-таинственный мир?

Свивались дороги войны в лабиринт — но по ним
Шагали бойцы, находившие правильный путь.
Но тяжко пришельцу ходить по дорогам твоим!
Под шагом надменным как будто не камни, а ртуть.

Жилища пылают. Они среди ночи и дня,
Как призраков гнезда в неспящем потоке огня.
Ворвались громилы — и падают камни стены:
Им стены мешают, им комнат просторы тесны.

Дерутся по пояс в крови и своих и чужих,
И крыши летят на преступные головы их.
Один у другого разбитые рвут этажи
И кровью своей поливают свои кутежи.

Бессменно сражался ты, город, пришельцам гроза!
Уж память теряли умы и тускнели глаза,
Уж руки немели у мечущих пламя бойцов,
И падали воины, славя удел храбрецов,
Взрывались твердыни, и лишь оставалась одна,
Как остров упорства средь моря развалин, стена.

И вражьи сердца зашатал, как пьянчужку, испуг.
Ты славным вином напоил ошалелых пьянчуг!
Сильнее, чем пламень, сильнее, чем стынут снега,
Железо сгорело и пушки застыли врага.

О юноши Волги! Разбуженный вами поэт
От чистого сердца вам песней приносит привет!
В руках горизонтов друг другу бросаемый мяч,
Искатель пристанищ, доселе не знавший удач,
От древнего Нила к провиденной мной вдалеке,
Я парус стремлю к обновляющей русской реке.

Вам памятник сложен словами стиха моего.
Тот памятник вечен — укажут всегда на него
Египетским юношам — зодчим отчизны своей,
Защитникам, если опасность нависнет над ней.
Вы всем показали, собою сжигая врага,
Как дóроги жизни, как родины честь дорогá.

О доблестный город, в дела претворивший мечты!
Бессмертное знамя великого мужества — ты!
Ты выстрадал праздник победы своей. Никогда
Еще не сходились на праздник такой города.

Весь мир потрясла горделиво победа твоя.
И спросят в эпохах потомки, дыханье тая:
Легенда ли, правда ль такая большая судьба,
Гигантская эта, бессмертная эта борьба?

Так сказал египетский поэт Али Махмуд Таха в сборнике «Цветы и вино». Пусть же не одни арабисты, а все наши люди знают эту поэму, ибо она про них — это они устояли на Волге, выстояли в тяжкой войне.

Подвиг наших ратных и мирных армий стоял у меня перед глазами, когда я переводил арабские стихи. Мои учителя — Юшманов, с его острым ощущением современности, и Крачковский, в строгой школе которого я постигал тонкости филологической критики, — стояли у колыбели этого перевода.

Потом у меня в работе были еще две арабские поэмы о Советской стране — одна, созданная в Дамаске, а другая — даже в священной Мекке. Написанные с большой симпатией к нам, они запечатлели на своих страницах то постоянное уважение, которое позже выказывали встречавшиеся мне арабы-ученые. Может быть, когда-нибудь удастся подготовить к печати и эти переводы.

ШКОЛА КРАЧКОВСКОГО

В пору, когда писалась эта книга, завершился девяностый год со дня рождения Игнатия Юлиановича Крачковского, которому все советские арабисты обязаны мужанием в науке. Я не стал свершать цветоприношений к его портретам: трепетные лепестки, источающие аромат жизни, бессильны воскресить ушедшего от нас человека, они умрут сами; не стал выслушивать чинных речей в парадных заседаниях — памяти Крачковского нужны не гаснущие друг за другом слова, а живое дело, продолжающее труд его жизни. Днем, в институте, я кропотливо разбирал средневековый арабский текст, готовя его критическое издание; вечером, придя домой, придвигал к себе чистый лист бумаги, чтобы воскресить перед собой и людьми облик моего учителя. Какие мысли первыми лягут на этот лист, какие придут вслед за ними? Я обратился к своей памяти и к давним раздумьям.

* * *

Николай Владимирович Юшманов, под руководством которого начинались мои занятия арабским языком, был первым, от кого я узнал о Крачковском.

Они были разными людьми, эти два человека. Разница в тринадцать лет, которая с годами обычно скрадывается, оказалась на этот раз решающей, ибо сквозь обе жизни резкой чертой прошла грань двух исторических эпох. Как человек и ученый, Крачковский сложился до революции, Юшманов — после нее; в год избрания первого академиком второй был недоучившимся студентом. Каждая эпоха наложила свою печать на характер, формировавшийся в ее горниле. Крачковский мужал, общаясь с рукописями, книгами, а потом уже с людьми; название, которое он выбрал для своих мемуаров, — «Над арабскими рукописями» — и порядок последних слов подзаголовка — «Листки воспоминаний о книгах и людях» — отнюдь не случайны; поэтому и мысль его была строгой, а речь изобиловала точеными книжными словами. Отзывчивый и в то же время подчеркнуто сдержанный во внешнем проявлении человеческих чувств, он тем самым поддерживал ощущение расстояния между собой и окружающими, даже равными ему по рангу и возрасту; голос его звучал всегда ровно, улыбка редко переходила в смех. Этот интеллект напоминал пленительную мелодию, исполняемую на скрипке под сурдиной.

А что же Юшманов? Здесь была другая судьба. Сын служащего Православного палестинского общества,[1] петербургский гимназист, он тоже шел в жизнь от книг, и это отлилось в раннее и плодотворное увлечение языками; но мобилизация на первую мировую войну сорвала его со студенческой скамьи, где юноша успел погрузиться в мир семитской филологии, и бросила в гущу людей, призванных под ружье империей. Чуткое ухо вслушивалось в грубую и яркую народную речь; потом до него стали доходить раскаты близкой грозы. Юшманов служил переводчиком на радиостанции Петроградского Совета в Таврическом саду, когда эхо выстрела «Авроры» прокатилось над Невой и миром; он оказался в центре

[1] Ныне — Российское палестинское общество при Академии наук СССР.

событий. Бессонные ночи у аппарата, срочная передача депеш Совнаркома, памятные разговоры с Лениным и Володарским... Переводчик и радиотелеграфист Военно-революционного комитета, не по-юношески подтянутый и деловитый, завоевавший сердца своих товарищей — революционных солдат Смольного — открытым нравом, стяжавший уважение за энциклопедические знания, поставленные на службу народной власти, мужал в огненной купели революции; как ученый, он ее ровесник и воспитанник. Свой пост в аппаратной он оставил тогда, когда убедился, что долг на этом важном участке выполнен им до конца: революция выстояла и победила. Теперь можно было возвращаться к ювелирному труду филолога. Общение со множеством разных людей из глубин России сообщило характеру Юшманова такие черты, как непринужденная живость, простота в обращении; весельчак, балагур, острослов, он, затягиваясь папиросой, — в противоположность ему Крачковский не выносил табачного дыма, — отпускал подчас такие каламбуры, от которых респектабельный Игнатий Юлианович мог бы лишь морщиться. Мало бы кто подумал, глядя на этого заразительно хохочущего человека, что в его теле давно гнездится неизлечимая болезнь, набирающая силы для рокового штурма, и что он об этом знает. Более важным, чем непринужденность, было другое приобретение Николая Владимировича, сделанное в годы, когда он дышал воздухом революционных будней Смольного, — убежденность в том, что даже самое отвлеченное творчество должно иметь практическую целенаправленность, должно быть нужным не отдельному человеку, а людям. С этой убежденностью он вошел в большое востоковедение и претворял ее в дело до конца своих дней.

Два человека, учитель и ученик. Занимаясь у Юшманова, я как-то никогда не думал, чтобы сам он, виртуозно владевший материалом разных языков, мог у кого-то учиться; но гениальный лингвист был когда-то студентом у того давнего, начинавшего, молодого магистра Крачковского и на всю жизнь сохранил сыновнюю любовь к своему учителю, ставшему советским академиком, основателем и главой школы советских арабистов. Сдержанный, уравновешенный, но внутренне страстный, сердцем прикованный к своему трудному делу в науке, Крачковский тоже любил своего ученика и гордился им; были в городе

на Неве и другие мастера арабской лингвистики, знания которых он высоко ценил, но пальма первенства отдавалась им Юшманову. И оба, учитель и ученик, каждой каплей крови были преданы соединившей их научной арабистике. Крачковский вложил в строительство советской арабистической школы мастерство тонкого литературоведа, мудрость руководителя творческого коллектива, самоотверженность ученого; Юшманов подарил ей свой яркий талант.

И вот однажды глуховатый, чуть сиплый голос сказал мне:

— Надо бы вас представить академику Крачковскому. А? Это наш первый арабист, вы должны его знать, он вас тоже.

— Боязно, Николай Владимирович, академик же...

— Ну и что, он съест вас? Все будет хорошо. Игнатий Юлианович благоволит к серьезным людям.

Помолчал, раскурил папиросу и добавил:

— Должен вам сказать, что наши занятия здесь, на историческом отделении красавицы Лили́,[2] весьма скоро кончатся: с одной стороны, сейчас у вас идет уже второй курс, а на третьем программа по языку для историков новейшего времени — так ведь называется ваша специальность? — будет исчерпана; во-вторых, группа тает — конечно, не каждому арабистика по нутру, — и если процесс не остановится, специальность могут прихлопнуть: нет студентов — и вся музыка; тогда жалуйтесь — кому? Разве что институтскому брадобрею Максу. Студентов-то нет, с деканата все взятки гладки. Вы же, поскольку интересуетесь арабистикой... я думаю, что вам надо подготовить себя к переходу на лингвистическое отделение, где только что открылась кафедра семитской филологии. Там вы получите углубленную — не такую, как по нашей программе, — подготовку по разным разделам арабоведения: Коран, архитектоника стиха, текстологический анализ; история халифата, мусульманское искусство, философия... Без этого занятия историей какой угодно эпохи дадут пшик. Кстати, на кафедре ждут

---

[2] ЛИЛИ — Ленинградский историко-лингвистический институт, позже преобразованный в исторический, филологический и восточный факультеты Ленинградского университета.

вашего перехода — я говорил про вас Рифтину,[3] да он и сам вас узнал с тех пор, как вы начали заниматься с отстающими студентами его кафедры. Но главное там лицо — Крачковский, его школу должен пройти всякий, мечтающий стать арабистом. Вы и мечтаете, я не ошибся?

— Ах, Николай Владимирович, «долог путь до Типперэри»...[4]

— Вы-то, я думаю, его осилите. Но уже сейчас нужно представить себе идеал ученого и вы должны увидеть его воочию. Игнатий Юлианович очень тактичен, скромен, доброжелателен. Знакомство с атмосферой его творчества и даже с небольшой частицей его внутреннего мира даст вам многое; надо же иметь образец для подражания, прежде чем выработается своя концепция жизни! Итак, дорогуша, на следующей неделе мы идем с вами к нему. Вероятно, он при первом знакомстве подарит вам какую-нибудь из своих книг... Кстати, вы были у Сыромятникова?

Перед моими глазами встала памятка — листок бумаги с записью зеленым карандашом, сделанной Юшмановым для меня: «Сергей Николаевич Сыромятников. Васильевский остров, 7-я линия, дом... квартира... Продает интересные книги».

— Нет, Николай Владимирович, как-то все не собраться было...

— Соберитесь. Не только книги его библиотеки, он и сам интересный человек.

* * *

На следующей неделе Юшманова отвлекли какие-то срочные дела, и наш совместный визит не состоялся. Но я сам, работая по вечерам библиотекарем восточного книгохранилища института, наткнулся на одно латинское издание 1592 года с арабским текстом, «вычищенное» из фондов как «устарелое», и решился показать его Крачковскому: неужели это действительно «хлам», как сказал наш заведующий? Он полон благих намерений

---

[3] Александр Павлович Рифтин (1900—1945) — ассириолог, заведующий кафедрой семито-хамитских языков и литератур, позже — декан филологического факультета ЛГУ.

[4] «It's a long way to Tipperary» — слова из популярной английской песенки.

освободить шкафы от малоценной и просто ненужной литературы, которой за многие годы накопилось изрядно; но ведь не арабист, так мог и ошибиться?.. Что скажет академик Крачковский? Вот и представился случай встретиться с этим человеком. Я трепетал от смущения и уже готов был оставить старинное издание в покое. Но интересно же это все, созданное так давно, так далеко, и потом — почему в Риме печатали по-арабски? Но главное — не надо обманываться — главное в конце концов не это, а слова Николая Владимировича о «первом арабисте страны», школу которого надо пройти, чтобы свершить в науке нечто стоящее. Мечты поднимались и крепли. Я видел себя учеником академика... Что нужно, чтобы он не прогнал с первого занятия? Стремление достичь высот, которое он должен увидеть. «Достичь высот»... Жидко, незрело, декларативно. Аккуратно выполнять все задания... Школьно, ремесленно. Труд нужен, вот что прежде всего. Труд над книгами, рукописями, над формированием и обоснованием своих первых мыслей. Труд без оглядки на рамки задания и на часы, труд, становящийся внутренней потребностью и радостью, не утомляющий, а будоражащий, увлекающий все к новому и новому, когда все более вдохновляется ум. И — за целью цель, все труднее и дерзновеннее, чтобы здание шло ввысь. Что еще нужно Крачковскому от ученика? Ничего. Одухотворенность, труд, цель — больше ничего.

Спустился в вестибюль института, впервые позвонил по 75—84. Семь-пять-восемь-четыре... Сколько десятилетий прошло, а разве забудешь эти цифры? И вот — «приходите, посмотрим с вами сей уник»... Скажи он: «принесите этот уник, я его посмотрю» (а так в действительности и было), сразу бы остро почувствовалась разница между начинающим студентом и всемирно известным академиком и смущение вместе с отчуждением стеснили бы душу: конечно, не нашего поля ягода, он-то прочитает и объяснит, а ты всего лишь случайный доставщик старой книжки. Еще хуже было бы, если бы я услышал: «мне сейчас некогда, оставьте в Академии, мне передадут; когда-нибудь, на досуге, я посмотрю этот документ и дам ответ по почте». Сколько таких ужасно деловых ответов, процеженных сквозь зубы, приходилось выслушивать позже от других! Нет, Крачковский сказал: «приходите», — это было приглашение увидеться сразу,

в непринужденной домашней обстановке, смягчающей первную напряженность; «посмотрим с вами сей уник» означало, что даже па безвестного студента, если тот интересовался вопросом за пределами учебной программы, он смотрел как на своего коллегу. Конечно, как же могло быть иначе? Ведь и академик и студент, с разной степенью знаний и опыта, один — тончайший ювелир, другой — кандидат в подмастерья, делали общее дело, направленное к тому, чтобы вечно жила их отрасль науки. Признание этого множило силы. Еще не увидев Крачковского, я уже получил от него первый урок — урок такта, которому впоследствии старался следовать в отношениях с другими людьми.

Но вот он стоит передо мной на пороге своей квартиры — пятидесятилетний, но уже седой; на морщинистом лице выделяются живые внимательные глаза.

— Здравствуйте, Игнатий Юлианович...

— Здравствуйте... Проходите сюда и садитесь вот на этот диванчик. — Крачковский ввел меня в кабинет и сел напротив, в кресло у письменного стола. — Так вы учитесь у Николая Владимировича? Он говорил мне о вас. Что же, вы решили посвятить себя арабской истории?

— Да, Игнатий Юлианович, всем сердцем!

— Это хорошо, конечно. — На лицо, слабо выделенное на фоне полутемной комнаты сумеречным отсветом, шедшим в окно со двора, вдруг пала тень. — Однако хотелось бы вам посоветовать: избегайте парадных слов; они настолько захватаны частым употреблением кстати и некстати, что уже не производят особого впечатления. Можно любить науку всем сердцем, можно в ней гореть, пылать и так далее, но не надо об этом говорить. Наука не любит пылких излияний, она жива трезвыми делами; лишь работая тихо, то есть без шума, можно рассчитывать на то, что когда-то люди скажут о вашей работе громко. Впрочем, я не оратор, мне более привычно рассуждать о книгах и рукописях. Итак, вы принесли...

— Вот, Игнатий Юлианович, — сказал я, доставая из портфеля свою находку.

— Так, позвольте взглянуть. Рим, 1592 год... Любопытно. Далее, Панеций... Николай Панеций. Судя по тому, что перед нами текст Корана в подлиннике и с латинским переводом, этот Панеций, по-видимому, издатель? Да, верно, это и указано на внутреннем титульном листе.

Но почему же он напечатал всего двадцать две суры[5] изо ста четырнадцати? Попробуем выяснить... Люблю копаться во всяких справочниках, как и читать комментарии: непременно найдешь что-нибудь новое, о чем и не подозревал.

Он подошел к полке и, взяв какую-то книгу, стал ее перелистывать. Я оглядел стеллажи, стоявшие вдоль стен: мне бы столько книг! В сравнении с этими сотнями фолиантов, ряд за рядом уходивших под потолок, моя библиотечка, постоянно пополнявшаяся, но все еще умещавшаяся на половине столика у койки в общежитии, показалась мне особенно бедной. Не думалось, что все еще впереди, что надо научиться читать книги, что пока я только еще учусь читать учебники.

— Ну, вот, ведь и действительно habent sua fata libelli,[6] как говорили римляне, — промолвил Крачковский, вновь усаживаясь в кресло у письменного стола. — В биобиблиографическом своде сказано, что Папеций, который был заметным ученым своего времени, вознамерился издать полный текст Корана, снабдив его переводом на латынь, дабы каждый мало-мальски образованный человек мог составить себе представление об этом первом памятнике арабской литературы. Но печатание было дорого, своих денег хватило на издание всего двадцати двух сур, а субсидии для полного осуществления замысла он не получил. Так бывало, удивляться тут нечему: в справочнике высказывается предположение, что свою роль сыграло здесь римское духовенство; конечно, отцам католической церкви вряд ли хотелось, чтобы паства читала какую-либо литературу, кроме христианской. И вот спустя некое время, возможно, еще в восемнадцатом веке, этот обрубок священной книги мусульман какими-то путями попадает на «хладные брега» Невы; забытый, дремлет среди своих собратий на полке библиотеки, безмолвно провожая с арены жизни одно поколение за другим; и, наконец, удостаивается мусорной корзины. К счастью, это все же не «наконец»: благодаря тому, что детище Папеция попало вам в глаза, я думаю, со временем сможет появиться научный этюд, посвященный его истории, а также выяснению принципов и стиля латинского пере-

---

[5] Сура — глава Корана, буквально — «ряд в каменной стене».
[6] «Книги имеют свою судьбу» (*лат.*).

вода Корана. Видите, как полезно бывает работать в библиотеке! Вы что же там — в штате или это курсовая практика?

— Я там работаю на половине ставки, Игнатий Юлианович. Три часа в день, по окончании лекций.

— Вот как! А что, стипендии не хватает?

— Хватает. Но только люблю покупать книги.

— О! Что же именно?

— Да вот... Собираю по томику энциклопедию Брокгауза и Ефрона... Потом, есть у меня «История человечества» Гельмольта... Полный атлас... У цирка, на ограде Симеоновской церкви, прямо на каменном постаменте стоят букинистические шкафчики; сколько там интересного! А на Невском приобрел арабскую хрестоматию Гиргаса и Розена с гиргасовским словарем...

— Это сейчас большая редкость, — заметил Крачковский. — И, должно быть, цена высока?

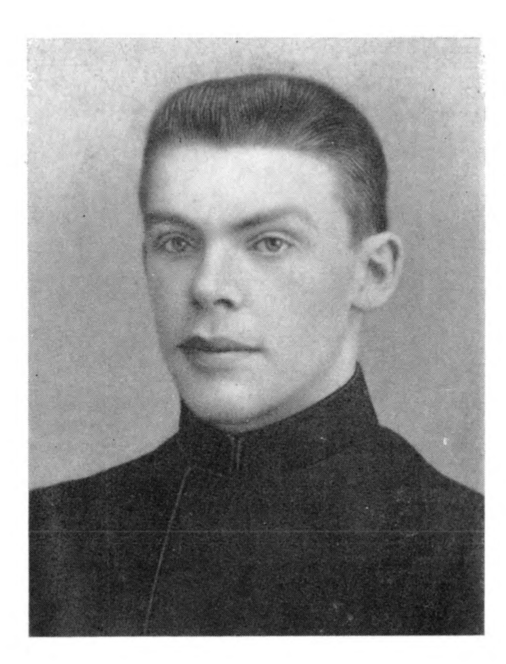
— Семьдесят пять рублей. Но ведь это будет нужно в течение всей жизни, правда, Игнатий Юлианович? Такие книги...

— Конечно. Особенно словарь Гиргаса — без него арабист как без рук. Есть много других словарей, но этот — единственный в своем роде. Например, Лэн, Дози́, Казимирский очень полезны, это действительно великие труды, но Гиргас еще и специализирован... Ну, а скажите, вы бываете у букинистов на Васильевском? Здесь тоже ведь есть хорошие лавки. Вот, если пойти по нашей Седьмой линии до Среднего проспекта — почти на углу, в подвальчике... Затем, на Большом, у Андреевской церкви... Если же вы переедете Тучков мост, скажем, на трамвае восемнадцатого маршрута и этим же трамваем двинетесь по Большому проспекту Петроградской стороны, то, если не ошибаюсь, на второй, а потом на четвертой остановке тоже будут гнездиться букинисты. Среди них есть такие виртуозы, которые удовлетворяют любой вкус; мне самому подчас удавалось приобретать у них уникумы, которые уже и не думал держать когда-нибудь в руках...

Крачковский задумчиво оглядел свою библиотеку. Потом поднялся с кресла и, взяв с ближней полки книжку в серой обложке, протянул ее мне.

— Раз вы такой книголюб, возьмите на память.

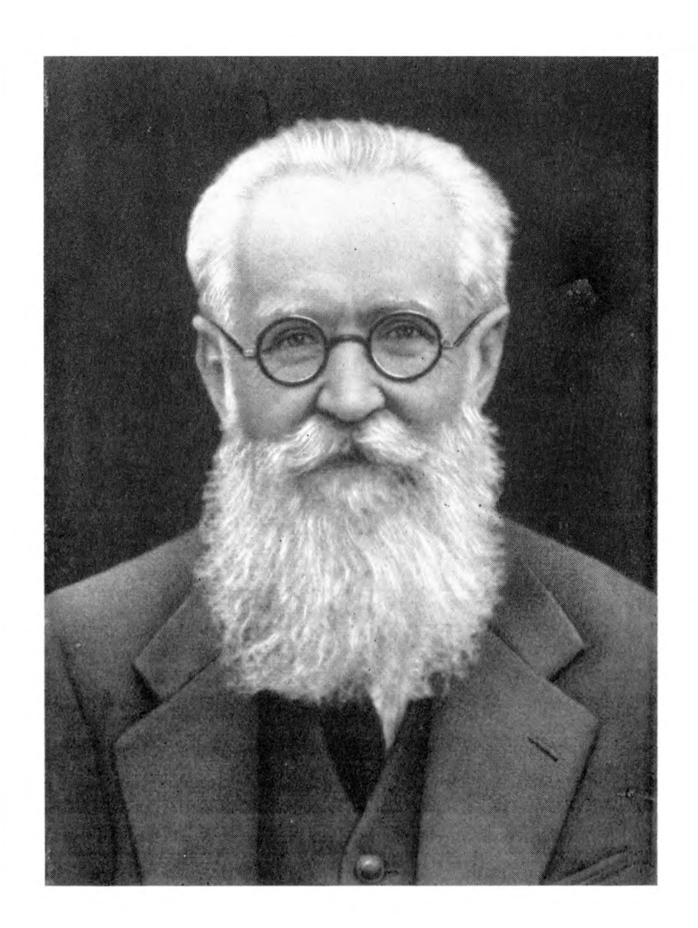
Это был экземпляр книги, которую Крачковский любил больше других своих работ. В ней описывалась не-



Николай Владимирович Юшманов (1896—1946).



Ирина Петровна Жданова (1916—1957).



Игнатий Юлианович Крачковский
(1883—1951).

обычная жизнь египетского шейха Мухáммеда Тантáви, сто лет назад сменившего знаменитого «барона Брамбеуса» — постаревшего Сенковского — на посту профессора арабистики Петербургского университета. Она доныне стоит у меня на книжной полке. Пожелтевшая страница титула сохранила дату моей первой встречи с Игнатием Юлиановичем Крачковским: 29 марта 1934 года.

* * *

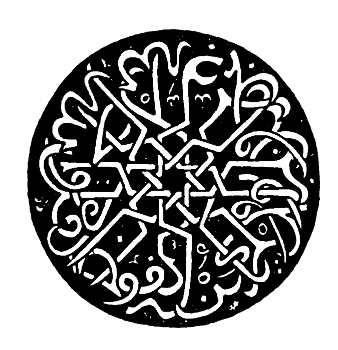
В следующем учебном году, занимаясь на третьем курсе исторического отделения, начал я ходить и на второй курс лингвистического, где при кафедре семито-хамитской филологии Александр Юрьевич Якубовский стал читать лекции по истории арабского халифата, а Крачковский — лекции по арабской классической литературе. Курс Якубовского, историка и археолога, интересовал меня главным образом своим содержанием — ведь я тоже готовился в историки, все более склоняясь при этом к медиевистике, и здесь мое внимание привлекали все детали. Курс Крачковского, помимо содержания, имел для меня особое значение из-за личности лектора. Титул академика окружал эту личность ореолом святости; я вслушивался в каждое слово, взвешивал его в себе, и мне казалось, что сказать можно только так и никак иначе; гладкие точеные слова нанизывались одно за другим, создавая светившуюся холодным матовым блеском нить мыслей. Холодным и матовым — не потому ли, что речь шла о людях, давно покинувших поле жизни, и о старых рукописях? Напрашивалось иногда сравнение с лекциями Евгения Викторовича Тарле, которые уже не в сырых полутемных помещениях дворовых пристроек, а в теплых просторных аудиториях главного здания института, с видом то на Неву, то на старинный Филологический переулок, я слушал в эти же месяцы. Евгений Викторович вел курс «Международные отношения в эпоху империализма». Он входил в переполненный зал — его слушали не только студенты, но и много посторонних — и, отрывисто поздоровавшись с присутствующими, начинал расхаживать у классной доски. Потом раздавалось: «Седьмого апреля 1912 года в шесть часов вечера французский министр иностранных дел пригласил к себе русского посла и сказал ему следующее...». И потекла, все дальше

раздвигая берега, повесть о сближениях и поединках дипломатий, о многозначительных взглядах за столом на рауте и столь же не случайных акцентах речей, о красноречивых обмолвках и недомолвках. Яркие слова и патетический тон лекции производили большое впечатление, но не была ли связана эта яркость с относительной хронологической близостью к нам описываемых событий? Позже я понял, что предмет и стиль повествования, по крайней мере в лекционной практике, не имеют прямой связи. Можно говорить бесстрастно о новых событиях и в приподнятом тоне — о древности, все зависит от эмоционального устройства натуры, от ее темперамента. Знаменитый профессор Тарле был скрупулезным исследователем, но кроме этого — блестящим оратором, дипломатом и, в некоторой мере, актером. Крачковский не любил позы; он подчинил все свои способности одной — исследовательской; в этом он видел средство для непрерывного самоусовершенствования на избранном поприще. И он достиг таких высот в арабистике, что смог создать оригинальное, сделавшее его имя в истории науки вечным. Была в таком самоограничении определенная опасность для будущего любимой им отрасли знания: ученый, излагающий факты и приглушающий эмоции, которые они излучают, занимая положение эталона, может, сам того не желая, послужить образцом для тех из числа его учеников, которые, сами не исследуя, излагают открытые до них явления и на основании этого внешнего сходства считают себя учеными; они враждебны эмоциям, ибо последние якобы мешают людям стоять на «твердой почве трезвых фактов». Но внутренняя страстность натуры Крачковского, мягким светом переливающаяся на страницах его многочисленных трудов, имела такую силу, что передалась яркой плеяде питомцев его школы, среди которых Юшманов и Кузьмин, Петров и Эберман, Оде-Васильева и Кашталева, Салье и Виленчик, Церетели и Ковалевский своими свершениями навсегда останутся в памяти науки.

* * *

Уже в следующем учебном году, рассудив, что историку нужна всесторонняя филологическая подготовка, я внял совету Юшманова и перешел, курсом ниже, на «арабский цикл» при кафедре семито-хамитских языков

и литератур. Здесь преподавали широкий круг специальных дисциплин. Игнатий Юлианович вел текстологию Корана. Я ходил на его занятия с книгой огромного формата (ребята в группе называли ее «кора́нище») — литографским изданием каллиграфически переписанной рукописи Корана, приобретенным в букинистической лавке. И вот однажды, когда я только что прочитал и перевел начало 96-й — первой по времени создания — суры, Крач-



Арабский средневековый орнамент.

ковский, быстро «прогнав» меня по грамматике этого отрывка, вдруг спрашивает:

— Скажите... Но сперва повторите, пожалуйста, два первых стиха из прочитанных вами.

— Йкра би́сми ра́ббика ллязи́ ха́ляк. Ха́ляка ль-инса́на мин ъа́ляк.[7]

— Так. Почему вы произносите «ха́ляк» и «ъа́ляк», ведь в тексте стоит «ха́ляка» и «ъа́лякин»?

— Здесь паузальное чтение, которого требует рифмованная проза: гласные окончания при глаголе в первом случае и при имени во втором отбрасываются, иначе не получится рифмы.

— Так. Теперь сопоставьте эти две формы.

— Они разнятся только первым звуком.

— Первым к о р е н н ы м звуком, вы хотели сказать,

[7] «Читай во имя господа твоего, который создал. Создал человека изо сгустка крови» (*араб.*).

первым согласным звуком. Да. Один-единственный звук сразу меняет смысл. «Ъáляк» — «сгусток крови» и... что еще?

— Глагол «висеть». Только здесь под вторым коренным будет ке́сра, звук «и».

— А «хáляк»?

— «Творить, создавать».

— Хорошо. А если заменить это острое «х», напоминающее испанскую «хоту», другим «х», придыхательным?

— Это будет «брить»...

— «Брить». А если вместо этого «х» подставить букву «айн», вы сказали, это будет...

— «Висеть». Отсюда «муъалляка» — «подвешенная». Так называли семь лучших доисламских поэм, свитки с которыми висели в меккапском храме.

— Свитки с текстом которых... Так, так.

— Откуда ты это знаешь? — спросила меня на перемене соседка по парте. — Нам же не задавали...

— Понимаешь, когда, готовя текст, ищешь слово в словаре, то на пути к нему натыкаешься на другие. Попадаются похожие, созвучные, ну и выписываешь на листок — интересно же, действительно, как от одной буквы вдруг сразу все меняется. А бывает, что даже от одной точки над буквой: есть она — одно значение, нет — совсем другое. Выпишешь — запомнится и где-то пригодится...

Вечерами, занимаясь с отстающими студентами из группы африканистов, я делал непроницаемое лицо и допытывался:

— А что будет значить это слово, если сменить в нем первый коренной звук на «х» придыхательное? А это? А если тут снять точку?

— Много с них спрашиваете, — замечал мне их преподаватель.

Я сразу обмякал и говорил растерянно:

— Правда? Но ведь африканистам не мешает знать арабский получше...

* * *

Тогда курсовых работ не было. И однажды...

— Игнатий Юлианович! Я хочу написать статью...

— Вот как! О чем же?

— Об арабской картографии.

— Картография... Так, так. Что же, дело стоящее, ведь в общем-то ни одной обобщающей работы по этому вопросу нет. Каков же ваш материал?

— Лейденская рукопись труда по всеобщей географии автора десятого века аль-Истахри. Она есть в библиотеке, где я работаю. Текст сопровождают арабские средневековые карты...

— Так, я представляю себе, о чем вы говорите. Это не рукопись, конечно, а ее литографированное издание — подлинных рукописей в открытых библиотеках не держат, — Крачковский мягко улыбнулся моему неточному выражению. — Карты в ней хороши в том смысле, что они типичны, то есть они отчетливо показывают, какие именно географические представления сложились у арабов той эпохи. Ну, а что же еще, помимо этих карт, вы собираетесь изучать ради вашей темы?

Я смешался и покраснел.

— Игнатий Юлианович, мне казалось, что литографии достаточно...

— Жидковато. На одних картах Истахри далеко не уехать. Как бы ни были эти документы важны для нас, но взятые сами по себе они дают шаткую аргументацию, выводы не будут иметь нужной цены. Все познается в сравнении, как вы хорошо знаете. Тем более что, по-видимому, вас привлекает идея обобщающего очерка, на меньшее вы вряд ли согласны. Начинающих ученых влечет к созданию широких полотен, хотя достаточной глубины они еще внести туда не могут. А раз широкое полотно, то нужно с особой тщательностью оценить карты этой вашей литографии, а кроме того, должны же вы показать и другие образцы. Итак, пойдите сперва в Публичную библиотеку, там есть издание, посвященное картографическим памятникам Африки и, специально, Египта, по-моему, оно доведено до XIII века. Его подготовил египетский ученый Юсуф Кемаль, как видно, человек весьма толковый. Материал там серьезный, кроме разнообразных карт приводятся подлинные тексты географических описаний с переводом на французский язык. Вы по-французски читаете?

— Недавно стал заниматься, Игнатий Юлианович.

— Где, на вашем курсе?

— Нет, на курсе преподают немецкий, а на историче-

ском отделении, где довелось учиться прежде, был английский. Я занимаюсь французским языком сам.

— Так сказать, приватно... С учителем?

— Нет, по учебнику. Это курс уроков, составленный Милициной и Поммер. Нарезал картонных пластинок, расписал на них тексты учебника, на обороте каждой пластинки — перевод. Сложил в карман и как еду в трамвае или стою где-нибудь в очереди, достаю, гляжу. Если карточка попала на глаза французским словом, спрашиваю себя: как это по-русски? И наоборот...

— Понимаю, — задумчиво сказал Крачковский. — Итак, займитесь еще и Кемалем, это будет вам дополнительной практикой и в языке. Издание редкое, тираж всего сто экземпляров, один из них прислан из Каира в дар нашей «Публичке». Если вас не сразу к нему подпустят, сошлитесь на меня, пусть вам его выпишут из хранилища в читальный зал на мое имя.

— Спасибо, Игнатий Юлианович.

— Потом приходите в Институт востоковедения. Это сразу за университетом, на последнем этаже академической библиотеки. Там, в Арабском кабинете, попросите Виленчика — запишите: Яков Соломонович Виленчик...

— Я запомню, Игнатий Юлианович.

— Хорошо. Виленчика или Даниила Владимировича Семенова попросите достать вам с полки тома́ Конрада Миллера под названием «Mappae Arabicae».[8] У Миллера хороший, достаточно полный набор карт из так называемого «Атласа ислама» и полезные комментарии. Для вашей темы все это, конечно, следует знать основательно. Затем посмотрите статьи Мжика и Крамерса, особенно первого; Крамерс, хоть и голландец, писал по-английски, а Мжик существует по-немецки. Эти статьи тоже есть в Арабском кабинете.

И пошла работа.

...«Арабская картография в ее происхождении и развитии». Ни много, ни мало! На меньшее я был не согласен, правду сказал Игнатий Юлианович. Звонкие слова заглавия первыми легли на чистый лист бумаги, другого на нем пока ничего не было. Сейчас, глядя на ненароком пощаженный житейскими бурями экземпляр моей первой

---

[8] «Арабские карты» (*лат.*).

публикации, я думаю: две легкомысленные подружки молодого ума — звонкость и наукообразность — как часто и порою долго теснят они в ученом двух верных его спутниц — глубину и научность! О нужном пределе научной глубины я имел довольно смутное понятие. Конечно, атласы Юсуфа Кемаля и Конрада Миллера были мной проработаны досконально, географические статьи Мжика я перечитал не однажды, а с маститым Крамерсом даже вступил в спор; основные выводы моей юношеской «пробы пера» пока не поколеблены; Крачковский недаром сослался на нее в своем печатном докладе в Географическом обществе. Но назвать ее надо было гораздо скромнее, ибо тема «Арабская картография в ее происхождении и развитии» требует книги, а не статьи. Во всяком случае выводы, раз о них зашла речь, могут быть если не изменены, то значительно дополнены. Это, впрочем, стало мне ясно значительно позже, когда начались мои попытки воссоздать по данным забытых рукописей картину средневековой арабской навигации: морские карты восточных лоцманов, уничтоженные временем и европейской колонизацией и, как феникс из пепла, снова встающие перед нами уже из текстов случайно сохранившихся лоций, после скрупулезного анализа — как много мог бы дать этот реконструированный образ книге об арабской картографии! Живое зеркало суровой действительности моря, ловящее все ее изменения, верное руководство для кормчих, развозящих людей и товары по великому «Индийскому морю», — и застывшие геометрические схемы «Атласа ислама», чуждые практике, созданные в сонной тишине подворий на караванных путях... Вот основная коллизия моей давней темы.

Крачковский как чувствовал, чего не хватает мне. Вряд ли он думал о морских картах, когда год спустя обратил мое внимание на уникальную рукопись Института востоковедения, где я наткнулся на неизвестные арабские лоции XVI века: ведь эти карты и поныне умозрительны, представление о них возникает благодаря изучению конкретных текстов, а специально заниматься навигационными рукописями ему не пришлось. Но великое искусство учителя, видящего в ученике будущего исследователя, состоит в том, чтобы найти единственный — ни часом раньше, ни часом позже — момент, когда нужно натолкнуть зреющий ум на то, что может ему дать

крылья, если он сумеет их добыть, — хотя еще не известно, насколько они будут широки. На карты Кемаля и Миллера, статьи Мжика и Крамерса мне было указано прямо, ибо их знание созидало основу, conditio sine qua non [9] для занятий избранной темой. Когда основа создалась, то для ее обогащения и развития достаточно было незаметным толчком устремить уже возбужденную мысль в нужном направлении. В этом и помощь и испытание.

* * *

Однажды товарищ по группе сказал мне:

— Слушай, ведь нам не преподают персидский язык.

— Ты прав, не преподают. Я тоже заметил это.

— Как думаешь, почему?

Я пожал плечами.

— Не знаю.

— Ты бы стал заниматься?

— Конечно. Арабисту без персидского нельзя. Только где взять преподавателя? Вероятно, нет ставок. Ты же знаешь, как у наших факультетских канцеляристов: лимиты-кредиты...

— Чепуха! Пошли в деканат.

Через пять минут мы вошли в тесный кабинет и почтительно остановились у массивного стола.

— Чего вам? — спросил усталый декан.

— Мы арабисты-третьекурсники...

— Знаю. Шумовский, Гринберг. Чем, так сказать, могу...

— Мы хотим изучать персидский язык, а нам его не дают...

Декан удивленно посмотрел на нас и лаконично ответил:

— Программой не предусмотрено.

— Как же так? Ведь мы арабисты и нам непременно, обязательно...

— Я вам сказал, друзья. Не предусмотрено. Значит, не включено в смету.

— Но ведь мы должны изучать персидский язык... Какие же могут быть арабисты без...

---

[9] Непременное условие (*лат.*).

— Мария Львовна, — обратился декан к секретарше, — дайте мне, пожалуйста, сводку успеваемости... африканистов... Да, африканистов. Пожалуйста.

Мы поняли, что разговор окончен, и вышли. Я печально побрел в Институт востоковедения и рассказал Крачковскому о неудачном визите.

— Выкроить ставку преподавателя, когда ее нет, пожалуй, труднее, чем превратить воробья в орла, — заметил Игнатий Юлианович. — Ибо воробей все-таки существует, а недостающая ставка — нет.

— Но, Игнатий Юлианович...

— В этом деле первую скрипку должен играть Александр Павлович,[10] как заведующий кафедрой. Со своей стороны, я поговорю, конечно, и с ним и с деканом, но обещать успех трудно. Сейчас разгар учебного года и на факультете все, как говорится, сверстано. Может быть, удастся организовать ваши занятия в будущем... Я вам советую привлечь в число ходатаев еще и Струве. Василий Васильевич недавно выбран в академики, и теперь у него большой вес...

— На вес он, кажется, и прежде не жаловался, — осклабился молодой сотрудник администрации, просматривавший в это время какую-то картотеку. — Комплекцией не обижен...

Крачковский поморщился — он не любил плоских шуток — и сухо сказал:

— Вы не всегда удачно вмешиваетесь в чужой разговор.

Молодой человек зарделся и, тихо проговорив «извините», вышел из кабинета. Крачковский обратил ко мне потемневшие глаза — они постепенно светлели:

— Духом вам падать не нужно; я думаю, что совместными усилиями как-то удастся добыть положительное решение.

Я отправился к Струве. Василий Васильевич знал меня с первого курса, когда мы с другим студентом, М. Черемных, помогали нашему профессору готовить к печати его лекции по истории Древнего Востока. Позже В. В. Струве был приглашен в Наркомпрос, где комиссия под председательством А. С. Бубнова утверждала «краткий курс профессора Струве» в качестве учебника для вузов.

---

[10] А. П. Рифтин (см. выше).

Я, вызванный туда для технической работы, во все глаза смотрел на строгую, подтянутую, но выступавшую с какими-то задушевными интонациями в голосе Крупскую, не веря, что передо мной ближайший друг Владимира Ильича Ленина, спутница его жизни... Едва я вошел в старинную квартиру на 15-й линии Васильевского острова, высокий, полный, неизменно радушный Струве пригласил меня в гостиную.

— Как дела, голубчик? (Все знакомые, независимо от возраста и положения, были для него «голубчиками»).

— Василий Васильевич, нам не ввели персидский язык, а мы хотим заниматься.

— «Мы» — это кто же? Студенты-арабисты?

— Да...

— Почему же не вводят? Вы были в деканате?

— Были. Говорят, программой не предусмотрено. Поэтому нет ставки преподавателя.

— Что делать... Начальству-то виднее, голубчик.

— Василий Васильевич, но ведь персидский нам нужен, вы это, конечно, знаете... Если можно, поговорите с ними. Должен же деканат пойти навстречу. Неужели нужно ехать к Надежде Константиновне?

— Ну, зачем беспокоить Крупскую, — озабоченно сказал Струве. — У замнаркома и так хватает забот. Я думаю, что если бы действительно мы с Игнатием Юлиановичем... Вы, конечно, его информировали?

— Игнатий Юлианович обещал помочь.

— Ну вот, если бы мы с ним пошли к декану, то, может быть, смогли бы сообща найти выход... Декану очень трудно, голубчик, поймите его положение. За малейший перерасход он отвечает перед законом... И вряд ли Крупская стала бы... Поймите, голубчик.

Через три дня, на заседании кафедры, Александр Павлович Рифтин сказал, обращаясь ко мне и Гринбергу в своем обычном полушутливом тоне:

— Должен вас известить, милостивые государи... Юшманов, писавший протокол, прыснул в усы. Крачковский задумчиво смотрел в пространство.

...что с будущего первого дня...

Тогда не знали дней недели, а жили по шестидневному календарю: первый, второй, третий, четвертый, пятый дни рабочие, шестой (6, 12, 18, 24, 30 числа каждого месяца) — выходной.

...вам вводятся занятия по персидскому языку.

— Ура-а! — хотелось мне крикнуть, но я сдержанно сказал:

— Спасибо, Александр Павлович.

— Мне за что? Это Игнатий Юлианович и Василий Васильевич просили за вас. Декан им отказать, конечно, не мог.

— Александр Павлович тоже приложил свою руку, — обычным своим негромким голосом отозвался Юшманов, поднимая глаза от протокола и глядя на нас. — Вошли в деканат, и он сразу стал делать выкладки: «не кажется ли вам, что за счет сего-то и того-то... если чуть поточнее распределить фонд... можно, смотрите, ведь можно же выкроить лишнюю ставку...». Декан слушал, потом говорит: «Пожалуй... да, пожалуй, вы правы; мне такая резервная возможность как-то не приходила в голову...».

— Николай Владимирович, нехорошо меня выдавать, — сказал Рифтин, смеясь.

В первый день следующей шестидневки пришел молодой иранист Лев Александрович Хетагуров. Тонкое задумчивое лицо, пристальный взгляд, чуть приглушенный стеклами очков; сразу вспомнился Грибоедов. Начали мы, конечно, с азов; после арабского персидский входил в нас довольно легко. Главное, было интересно читать написанные знакомыми арабскими буквами неизвестные, своеобразного рисунка и странно звонкие слова. Я еще не знал, что на Востоке персидский считался языком поэтов, как арабский — ученых, а уже упоенно декламировал:

Мара́ дард аст анда́р-и диль агя́р гуя́м заба́н суза́д
Агя́р панха́н куна́м тарса́м ки магз-и устуха́н суза́д.[11]

— Хетагуров? — переспросил Игнатий Юлианович, когда я прибежал к нему делиться первыми впечатлениями. Он был болен и лежал в спальне; легкое серебро бороды чуть касалось белоснежного одеяла. — Как же, слышал. Это любимый ученик Фреймана;[12] Александр Арнольдович очень его хвалит. Он излагает понятно?

---

[11] В душе моей таится скорбь; сказав ее — язык сожгу,
А если скрою, то боюсь, что мозг костей моих сожгу.

[12] Александр Арнольдович Фрейман (1879—1968) — выдающийся советский востоковед, иранист-классик, первый исследователь согдийских документов с горы Муг в Таджикистане.

— Да, Игнатий Юлианович.

— Я ведь не случайно спросил. Бывает, что талантливый ученый не годится в преподаватели. Он привык быть один, он поглощен своими мыслями, и все окружающее для него, как в тумане... Когда приходится публично выступить, он начинает спотыкаться. Мысль ведь не всегда можно сразу выразить емким и точным, наиболее удачным словом, а тут нетерпеливо ждут и сам он должен уложиться в прокрустово ложе программы, часов и минут... Здесь еще и та сложность, что ведь он полагает, что его должны понять с полуслова, а между тем подчас приходится, как говорится, auparavant[13] разъяснять элементарные вещи...

— Игнатий Юлианович, говорят, что Юшманов — плохой педагог, а мне больно это слышать. Ведь за три года удалось научиться у него многому, об этом свидетельствуют и отличные оценки из курса в курс... Только, пожалуйста, поймите меня правильно...

— Успокойтесь, никто вас не упрекает в нескромности, — улыбнулся Крачковский. — Дело, конечно, не в ваших отличных оценках, ибо, если сказать прямо, в числе слагаемых решения экзаменатора наряду с трезвым учетом качества ответа присутствует и некая случайность: более или менее сильное впечатление, которое произвели уверенный тон студента и знание им необязательных деталей. Но ведь это, как и общая правильность самого ответа, может происходить оттого, что студенту случайно выпал вопрос, который он особенно хорошо усвоил или — что гораздо хуже — хорошо вызубрил, чтобы завтра забыть. Последнее, я думаю, к вам не относится, но скажите... Как вам кажется, вы одинаково преуспели в знании всех разделов арабской грамматики, которую проходили у Юшманова? «Ты сам свой высший суд», как сказал поэт...

Я покраснел: в молодости, особенно если ее подчас называют многообещающей, трудно признаваться в своем невежестве.

— Конечно, кое-что... кое-что у меня слабовато... Надо совершенствовать...

— Правильно. Человек не машина: одно, что возбуждает его интерес больше — почему больше? Может быть,

[13] Предварительно, сперва (*франц.*).

это как-то связано с его прошлыми переживаниями? Не знаю...— словом, то, что почему-то интересует его больше, он узнает лучше, что интересует меньше — хуже. Допустим, в грамматике спряжение глаголов начальной ха́мзы вы действительно усвоили как следует, а в средней начина́ете сбиваться, а уж спроси вас о каких-нибудь редких производных от вдвойне неправильных глаголов, вы почувствуете себя неважно. И вот, на экзамене по последнему разделу, когда вы словно бы висели на дыбе и думали: скорее бы это кончилось! — на таком экзамене я не уверен, что и добрейший Юшманов мог бы выставить высокую оценку...

Мне вдруг представилось, что я повис на средневековой дыбе и Юшманов, тараща глаза и шевеля усами, предает меня изощренным экзаменационным пыткам... Я повеселел.

— Был со мной такой случай, Игнатий Юлианович, правда, не по арабистике, а по одному малоинтересному предмету. Но все же я вылез на «четверку»...

— Предметы бывают тоже интересные и не очень. Помню, что некоторые труды Болотова по истории эфиопской церкви поначалу показались мне скучноватыми... Зато потом было не оторваться и восхищала прежде всего эрудиция; ведь он знал много такого, чего больше никто не знал. Одним словом, я хочу сказать следующее: дело не в отличной оценке, ибо это не абсолютное мерило, и наивно было бы думать, что за три года можно узнать все детали, их знание постепенно приходит потом. Дело, как мне представляется, в том, что у вас сложилась более или менее надежная основа, на которую можно наращивать последующие знания; они будут тем устойчивее, чем крепче они будут связаны с этой вашей основой и, как теперь говорят, опосредствованы ею. То, что этот фундамент образовался прежде всего и преимущественно в результате занятий с Юшмановым, свидетельствует в вашу пользу, вы можете ощущать некоторое внутреннее удовлетворение: ведь Николай Владимирович — преподаватель для немногих. Не каждому дано, фигурально выражаясь, высечь для себя искру из этой глыбы, искру, от которой начинается собственное горение; не каждому дано увидеть крупицы золота в этом самородке первой величины, ведь он как бы затенен, подчас густо затенен внешними странностями. Даже уже не студентам, а мно-

гим зрелым ученым Юшманов кажется просто оригиналом в жизни, так себе, чудаковатый добряк и только. Но уж кто усмотрел его оригинальность в науке, яркость и глубину его мысли и научился учиться у него — тот, как говорится, блажен.

* * *

Занятия с Хетагуровым разворачивались полным ходом. Была пройдена уже почти вся классическая «Тути-наме» — «Попугаева книга», или «Сказки попугая», как ее обычно называли, — и я стал ходить к студентам-иранистам, где сам Фрейман вел курс по изучению «Шахнаме» великого Фирдоуси; озабоченность вызывало то, что часы этого курса совпадали с часами занятий в нашей арабистической группе. Однажды Игнатий Юлианович сказал:

— К Фрейману вы, пожалуй, успеете походить в будущем году, когда лучше подготовитесь у Хетагурова, и, кстати, расписание может быть более удобным. Я думаю, что вам стоило бы пока, как говорится, начитывать литературу, которая ввела бы вас в персидскую жизнь, познакомила бы с ее реалиями, тогда и сложные тексты, которые вы хотите читать на уроках Фреймана, будут вам более понятны.

И я взял в библиотеке, где еще продолжал работать, «Сафар-наме» — «Книгу путешествия» Насира Хосрова, написанную в одиннадцатом веке, а в двадцатом переведенную на русский язык крупным нашим иранистом Е. Э. Бертельсом. Простой, безыскусственный язык, как редок он в востоковедных изданиях... С первых страниц раскрывая одну картину за другой — ранние вспыхивали и не гасли, а неспешно и необратимо, как поток, переливались в следующие, — живая, образная речь незаметно ввела меня в толщу события, каким было для среднеазиатского автора это путешествие к Юго-Восточному Средиземноморью, и так же неслышно, уже упоенного, вывела к благополучному исходу, к последним шагам осла, доставляющего усталого странника в родной город. Неторопливое повествование давнего путешественника о городской жизни средневекового Востока звучало как откровение. Я нашел в нем немало интересных для себя деталей, а в целом текст Насира Хосрова очень при-

годился не только для того, чтобы представление о Персии стало во мне менее смутным: пришлось вспомнить о нем и много лет спустя, когда, работая над книгой об арабском мореплавании, я смог воспроизвести на ее страницах живые впечатления землепроходца одиннадцатого века о современных ему египетском флоте и сирийских гаванях.

Но что это?

Рассматривая приложенные к переводу «Сафар-наме» воспроизведения средневековых арабских карт и читая пояснения к ним, данные переводчиком, я обнаружил разительное несоответствие: целый ряд географических объектов был отождествлен неправильно. Работа над статьей об арабской картографии «наточила» мой глаз, я уже довольно свободно разбирался в геометрических чертежах, изображавших ту или иную область мусульманского мира так, как представляли ее себе арабские авторы. Ошибки в пояснениях бросились мне в глаза сразу — и все же не хотелось этому верить. Неужели, скрупулезно готовя к печати книгу, можно было допустить такое нагромождение вопиющих неточностей? Или я сам ошибаюсь, чего-то не понимаю, недопонимаю... Снова и снова сличал я карты и пояснения, пояснения и карты... Увы, сомнения быть не могло: ошибся не я, а профессор Бертельс.

Игнатий Юлианович, выслушав мой рассказ о неправильной идентификации, против ожидания, отнесся к нему холодно.

— Не понимаю, зачем нужно стрелять из пушек по воробьям...

— Но, Игнатий Юлианович, — возразил я, — ведь налицо дезинформация читателя. Будь издание «Сафар-наме» рассчитано на одних востоковедов, это еще куда ни шло, но ведь книга-то выпущена большим тиражом, для широкого круга читающих. Как же можно оставлять промах незамеченным? Мне бы хотелось подготовить исправления — и, логически рассуждая, они должны быть изданы в том же количестве экземпляров, что и перевод Евгения Эдуардовича.

— Но ведь это мелочь! — жестко сказал Крачковский, и глаза его потемнели. — Мелочь, недостойная внимания серьезного человека. Неужто вам больше нечем заниматься? Вы меня удивляете. Ну, что с того, что в поясне-

нии к этой паре карт не все сказано так, как надо? Ценность книжки Бертельса отнюдь не измеряется этими злосчастными пояснениями. Себе я объясняю происшедшее просто: издательство торопило, нужно было уложиться в какие-то короткие сроки, вот Евгений Эдуардович и недоглядел, помимо своей воли, конечно. Не будь этой вечной издательской спешки, от которой мы все страдаем, востоковед столь высокой марки сделал бы все, как надо. Или вы позволяете себе в этом сомневаться?

— Как можно, Игнатий Юлианович, — тихо ответил я. — Но ведь ошибка есть ошибка. Почему же должен страдать читатель?

Крачковский отчужденно посмотрел на меня.

— Ваше упрямство не всегда идет вам на пользу. Можете оставаться при своем мнении и поступайте, как хотите.

Я и «поступил, как хотел»: написал статью «К вопросу об идентификации двух мусульманских карт в русском переводе „Сафар намэ“ Насира-и Хусрау». В горле стояли спазмы: я тяжело переживал размолвку с Игнатием Юлиановичем. «Почему он так болезненно отнесся к вскрытию этих ошибок? — бежали горькие мысли. — Может быть, ему просто по-человечески неприятно, что безвестный студент поправляет маститого ученого, человека его поколения, почти ровесника?»... Крачковский и слышать не хотел о моем новом опусе. Но полтора года спустя он рекомендовал его в печать, и по его письменному отзыву статья увидела свет через четверть века, когда ни переводчика «Сафар-наме», ни ревнителя его ученой славы уже не было в мире живых.

* * *

Однажды Хетагуров сказал мне:

— Скоро вам станет недоставать времени на персидские штудии.

— Почему, Лев Александрович?

— Разве вы не слышали? Будете в дополнение ко всему заниматься современным арабским, имеется в виду разговорный язык. Если я хорошо запомнил, в деканате шла речь о сирийском диалекте.

— Да? Наконец-то!

— Я было хотел сейчас посочувствовать: если не оши-

баюсь, у вас и без того изрядная академическая загрузка. Но, судя по радостному восклицанию, вы сами хотели этого?

— Как же, Лев Александрович! Ведь, занимаясь средневековой культурой, надо знать и то, что было потом? Игнатий Юлианович в конце своего курса арабской литературы говорил нам о новейших авторах — египетских, сирийских, иракских; с Николаем Владимировичем Юшмановым еще год назад мы проходили хрестоматию Семенова по арабскому языку нашего века. Но захотелось иметь и навыки живой речи — ведь, наверное, придется встречаться с арабами... Давно мы просили наше кафедральное начальство — Александра Павловича Рифтина — добиться у деканата включения в программу курса арабского разговора. И вот... Все это здорово, очень здорово! А за свой предмет, Лев Александрович, не беспокойтесь, персидский у нас останется на прежнем месте, все будет «бисйа́р хуб»...[14]

— Ишь ты, уже и «бисйа́р хуб»! — засмеялся Хетагуров. — Ну, посмотрим, посмотрим...

Спустя несколько дней в нашей аудитории появилась темнолицая женщина с проседью в черных густых волосах и с живыми внимательными глазами. Ее звали Клавдия Викторовна Оде-Васильева, но нам было известно, что в прошлом это — Кульсум бинт Наср Оде, учительница в палестинском городе Назарет; выйдя за русского фельдшера Васильева, она в канун первой мировой войны приехала в Россию погостить у новых родственников и осталась тут навсегда. Клавдия Викторовна преподавала в Ленинградском восточном институте ЦИК СССР, существовавшем тогда, в тридцатые годы, возле Исаакиевской площади, в Максимилиановском переулке, 2, и по-матерински любила всех русских «мальчиков и девочек», изучавших ее родной язык. Она деятельно участвовала в работе Ленинградской ассоциации арабистов, где была членом правления; ее яркие, основанные на живых впечатлениях доклады о современной литературе арабских стран привлекали широкое внимание. Оде-Васильева преклонялась перед эрудицией Крачковского и высоко ценила его уважительное, бережное отношение

---

[14] «Очень хорошо» (*перс.*).

к ней, представительнице того народа, изучению культуры которого он посвятил свою жизнь. Она любила повторять отзыв своих далеких соотечественников: «русский профессор Крачковский знает нашу культуру лучше, нежели мы, арабы, знаем ее сами».

У нас — после реорганизации 1935—1936 гг. это был уже не Институт истории, философии и лингвистики, а факультет Ленинградского университета — преподавательница арабской речи быстро стала «нашей Клавдией Викторовной», перед которой мы и гордились и смущались — ведь подлинная арабка! — нашими познаниями в арабском языке. Многое, конечно, резало ей слух в нашем произношении: мы готовились к работе над рукописями, то есть к чтению про себя, а не вслух, и она терпеливо нас выправляла, приговаривая: «Ну, что с того, что вы рукописники? Это, конечно, и нужно, и важно, никто не спорит. Но если, попав куда-нибудь в Ливан или в Египет, вы не сможете спросить себе стакан воды, это будет плохо. Помните арабскую сказку про филолога и матроса? Они сели в лодку и поплыли. Беседуют. Филолог спрашивает: „Знаешь ли ты грамматику?“ — „Нет“, — отвечает матрос. — „Эх, ты! Значит, пропала у тебя половина жизни!“. Вдруг налетел ураган, лодка перевернулась. — „Умеешь ли ты плавать?“ — спросил матрос. — „Нет“, — отвечает филолог. — „Эх, ты, значит, пропала вся твоя жизнь“. Поняли? Допустим, вам не понадобится стакан воды, но должны же вы узнать, ради лучшего понимания рукописей, живую душу народа. А в нее с английским или французским языком не войдешь, надо знать язык именно этой души. Вот вам пример Игнатия Юлиановича: ведь, живя на Востоке, он изучал старые рукописи аль-Азхара[15] либо же аз-Захирии,[16] а на улице учился арабскому языку у продавцов прохладительных напитков и у чистильщиков обуви...».

И мы вламывались в учебники, «грызли гранит науки», как тогда говорилось. Мы вслушивались в звучание арабских слов в устах нашей «Кульсум бинт Наср», в их артикуляцию, акценты, мелодию. Нам раскрывались лаконич-

---

[15] Древний университет в Каире.
[16] Академическая библиотека в Дамаске.

ность и точность народной речи, ее динамизм: если для вопроса «почему?» в литературном языке надо набрать три слова: «ли а́ии ша́йин» — «ради какой вещи», то в разговорном достаточно сказать сокращение этой фразы: «леш». Динамизм этот понятен: для филологов, создателей литературных норм, язык является самоцелью, для других людей он — средство общения; в тепличной атмосфере кабинета дерево языка широко разрастается, отращивая подчас и неестественные, нездоровые ветви; под свежим ветром улиц все лишнее облетает, остается наиболее устойчивое и нужное. Много у нас было потом разговоров об этом с Яковом Соломоновичем Виленчиком, положившим всю свою жизнь на составление колоссального, тончайшего словаря сиро-палестинского диалекта арабского языка. И все же во мне сидела душа «рукописника»: яркие формы народной речи оттеняли в моих представлениях об арабском языке строгую точеную красоту литературных фраз, их гармонию и совершенство.

...Клавдия Викторовна Оде-Васильева умерла в первом городе своей новой и обновленной родины, Москве, поздней осенью 1965 года. А Лев Александрович Хетагуров погиб в пору ленинградской блокады. Судьба отпустила мало дней застенчивому, с негромким голосом, человеку большой внутренней культуры, походившему на Грибоедова; пожалуй, не создал он ничего равноценного ни бессмертной комедии, ни пленительным грибоедовским вальсам, и, кроме внешности, может быть лишь общий интерес к персидскому языку сближает этих двух людей. Но и ориенталист Хетагуров не напрасно прожил свою жизнь, и когда, войдя в Институт востоковедения, я вновь и вновь вижу это имя, золотом вписанное на мемориальную доску, то на мгновение замедляю шаг и оживляю в памяти невозвратное.

* * *

Недавно в одной газете были помещены рядом две взаимоисключающие статьи на одну и ту же тему. В первой из них писатель с периферии — обозначим его буквой «А», — опираясь на ряд логических умозаключений, высказывал сомнения в научной обоснованности одного открытия в области истории русской литературы, сделанного в наши дни. В другой статье столичный литерату-

ровед — назовем его «Б», — сделавший это открытие... И тут я должен остановиться, ибо не могу сразу подобрать нужного глагола. Он рассуждал? Доказывал? Спорил? Опровергал? Увы, нет. Он... Обратимся к тексту, это надежнее всего:

«Я должен решительно возразить писателю „А“. Ошибается он, а не я».

Это — самое начало статьи, когда еще не приведено ни одного доказательства того, что «А» ошибается. (Так и хочется назвать это «первыми тактами бестактного выступления», но не следует позволять себе того, что осуждаешь в других).

Далее приводится субъективное мнение «Б», легшее в основу его исследования, и вместо обоснования выставлены раздраженные восклицательные знаки. (Как это мнение ни авторитетно, обычный текстолог мог бы его оспорить, если бы, конечно, «Б» разрешил не согласиться с ним). И вслед за этим — победоносная тирада:

«„А“ учит меня неправильно. (Позвольте, но ведь он и не пытался учить вас, а просто высказал свое мнение!). Ну что ж! Вопрос, как говорится, исчерпан. „Закрытие“ открытия не состоялось. Приходится напомнить „А“, что, начиная текстологический спор, прежде всего надо заглянуть в рукопись: это элементарно».

Становится нехорошо на душе от этого барски высокомерного тона. «Начиная текстологический спор», надо не только «заглянуть» в рукопись; следует проникнуться уважением к оппоненту, собеседнику, кем бы он ни был, научный спор может вестись лишь на началах равенства. Это второе из непременных условий плодотворного диспута представляется мне более важным, чем первое. Почему? Дело не только в его этической стороне и значении для объективного исследования, приводящего к истинному умозаключению. Дело состоит и в том, что в случае, о котором идет речь, писателю «А» не обязательно было «заглядывать» в рукопись: он ведь не предлагал своих вариантов ее чтения, перевода, интерпретации; он противопоставил фактам, которые литературовед «Б» положил в основу своей концепции, группу логических опровержений, основанных на несомненном знании предмета спора и углубленной работе мысли.

Но, к сожалению, взятый тон продолжается:

«„А“ все время мешают факты»...

«Не зная самых простых вещей, „А“ берется за решение не только текстологических, биографических, но и хронологических проблем»...

«Издание Академии наук СССР тоже не пользуется у него авторитетом»... (Это уже прием с определенной акцентировкой).

«Ошибки в статье „А“ сыплются за ошибками»...

«Удивляет неуважение к науке, к труду большого коллектива ученых»... (Опять недозволенный прием).

«Что же касается тона письма „А“, то входить в полемику с ним по этому поводу считаю для себя невозможным».

Эти громы и молнии обрушены на периферийного писателя за то, что он всего лишь позволил себе «усомниться в доказательствах прославленного литературоведа», как сказано в начале его статьи. Усомнился и, поминутно указывая на факты, высказал доводы нормальной логики, опасные для здания концепции «Б». В отличие от статьи его оппонента, это сделано в спокойной деловой форме, достоинство другого человека не унижено ни словом, ни намеком, что естественно: ошибаться свойственно каждому, но каждый, кто ищет истину, заслуживает уважения. Ненароком «Б» поступил разумно, отказавшись «входить в полемику» по поводу тона письма «А»: предмета для полемики здесь нет, как не может быть и двух мнений о том, что «прославленный литературовед» значительно уступает своему менее знаменитому коллеге (именно коллеге, именно равноправному с ним) в умении вести научный спор.

Я не позволяю себе сомневаться в научной ценности его трудов; давние и многотрудные поиски в области прекрасного ясно показывают высокую целеустремленность его натуры. Но после уничижительного и крикливого тона — увы, бессодержательной — статьи, где, кроме своего прямого оппонента, он предал анафеме и другие случаи сомнения в догмах литературоведения, каюсь, я тоже стал сомневаться в безупречности доказательств, лежащих в основе его открытия. Создалось представление о карточном домике, тщательно оберегаемом от свежего ветра: он может существовать лишь в застойном воздухе. Страх за его жизнь на время лишает элементарного благоразумия и чувства собственного достоинства.

Вряд ли Пифагор или Ньютон доказывали свои правоту путем оскорбления противников...

И тут я вспоминаю вечер 11 сентября 1937 года. Тогда... Но все по порядку. В то время действовала Ленинградская ассоциация арабистов, собиравшихся на свои заседания дважды в месяц: 11 числа — научный доклад, 23 — библиографические сообщения; таким образом, специалисты постоянно были в курсе отечественных и зарубежных исследований в своей области. Я стал ходить в это общество зрелых ученых, будучи третьекурсником исторического факультета, в 1935 г. Приглядывался, вслушивался и, преодолев робость, понемногу начал выступать сам — то с вопросами, то с короткими замечаниями. Потом ученый секретарь Арабского кабинета Института востоковедения Яков Соломонович Вилепчик дал мне анкету для вступления в члены ассоциации. Составляя в кабинете библиотечные карточки на арабские книги, я однажды нечаянно услышал, как в другой комнате, где заседало бюро, обсуждался вопрос о моем приеме. «Кульсум бинт Наср» — Оде-Васильева горячо высказывалась в мою пользу, но осторожный Александр Юрьевич Якубовский, наш крупный историк халифата, возражал ей: «Беспрецедентно, Клавдия Викторовна. Я ничего не имею против этой кандидатуры, он и мне сдавал зачет, но, вы понимаете, мы можем его испортить: единственный студент в ассоциации, не вскружило бы это ему голову...». Мудрый Игнатий Юлианович, председательствовавший в заседании, оставил вопрос открытым; он уважал борьбу мнений, но предпочитал единогласие. Так я продолжал ходить на ученые заседания «вольноопределяющимся», мечтая о часе, когда положение и блестящее научное открытие (о меньшем я не думал) позволят мне законно занять место среди творцов нашей арабистики.

Вечер 11 сентября 1937 года оказался необычным: вместо научного доклада оглашалось письмо, составленное Игнатием Юлиановичем в адрес Президиума Академии наук. Такую форму он выбрал для ответа на статью в одном журнале, порочившую его многолетний труд ученого и главы новой арабистической школы.

В зале заседаний стояла тяжкая тревожная тишина. Голос Крачковского звучал, как всегда, спокойно, но временами его перехватывала дрожь; на бледном лице

смутно мерцали потускневшие глаза. Все понимали, что перед ними не простая полемика, речь шла о большем: возможности или невозможности для академика и его ближайших учеников продолжать то дело, которому они отдали всю прожитую жизнь. Но в этот решительный час Игнатию Юлиановичу не изменило его обычное хладнокровие: он не позволил себе ни одного оскорбительного выпада против оппонента. И выдвинутые обвинения опроверг не красноречием, а напоминанием о свершениях руководимого им коллектива, ставших фактами науки.

Спустя полтора месяца в этом же зале, когда в докладах на юбилейной всесоюзной сессии в полный рост встали достижения школы Крачковского за двадцать советских лет, автор журнальной статьи посвятил свою речь превознесению личности руководителя школы. Он всегда плыл по течению, этот человек, и никогда не знал чувства меры.

Подвиг жизни академика Крачковского, создавшего качественно новую, советскую школу арабистики, был увенчан двумя орденами Ленина, Государственной премией первой степени, присвоением его имени Арабскому кабинету академического Института востоковедения, опубликованием шеститомника его исследований. У нас умеют ценить вдохновение и труд ученого.

А я, прежде чем мне довелось заниматься под непосредственным руководством Игнатия Юлиановича и войти в его школу, получил от него первые уроки человеческого такта, научной строгости и скрупулезности.

«ЧЕТВЕРТЫЙ ЛЕВ МОРЯ»

В некоем журнале можно прочитать следующие строки:

«...Очень радовался Крачковский неожиданному открытию. Но сам он не мог в то время углубиться в изучение исторической лоции — был занят другой спешной работой. Решил поручить рукопись одному из своих учеников и руководить им. Вскоре академик пригласил к себе студента Ленинградского университета Теодора Шумовского.

— Теодор, доверяю вам труд огромного значения. Предупреждаю: пота пролить придется много, даже очень много. Но результат такого труда непременно выльется в научный триумф...».

Так не было. Игнатий Юлианович никого не называл по имени, не любил громких слов и никогда не обещал триумфов. Его сотрудники и сами трудились не ради пьедестала почета, но еще более, чем их, его отличали деловитость и необыкновенная скромность; например, он никогда не указывал в печати своей фамилии при упоминании какой-либо из опубликованных им работ и весьма неохотно пользовался местоимением «я», предпочитая, по возможности, его косвенные формы. Напыщенные фразы из журнала напомнили одно газетное сообщение о моей кандидатской защите: оно начиналось телеграммой, будто бы посланной Крачковским в редакцию этой газеты сразу после благоприятного голосования ученого совета; Игнатий Юлианович тогда посмеялся и сказал: «Не надо осуждать журналистов, у них есть свои приемы». Зачем, однако, этот фейерверк, заставляющий читателя с насмешливой улыбкой или откровенным хохотом пробегать «острое» место корреспонденции? Опишите труд ученого без всяких прикрас — и вот вам драматизм и торжество, философия и психология, все, что вам нужно.

* * *

А было вот как. Успевающих старшекурсников университета «прикрепляли» к преподавателям для индивидуальных занятий. В русле этой меры поощрения наша кафедра семитской филологии обратилась к ученому секретарю Института востоковедения Академии наук Хасану Исхаковичу Муратову с просьбой разрешить мне «проходить производственную практику в библиотеке Института под руководством академика И. Ю. Крачковского». Хасан Исхакович написал: «Не возражаю»; Игнатий Юлианович предложил мне, в качестве предмета занятий, изучение техники исследования арабских рукописей. С октября 1936 по май 1937 г. он регулярно и подробно знакомил меня со все новыми и новыми манускриптами нашего академического фонда, одного из богатейших в мире, обращая внимание удивленного студента на малозаметные детали и терпеливо выслушивая

его первые самостоятельные, во многом еще незрелые суждения.

На предпоследнем занятии он положил передо мной томик в красном кожаном переплете восточной работы с застежками и узорным тиснением и сказал: «Вот вам для испытания, посмотрим, насколько вы преуспели. Это сборная рукопись, но вы всех помещенных в ней сочинений не трогайте; выберите какое-нибудь одно, разберитесь в нем, насколько сможете, досконально и дней через десять поделитесь со мной своими наблюдениями». В томике было несколько средневековых трактатов на разные темы, написанных по-арабски и по-турецки. Мое внимание привлекли три арабские поэмы некоего Ахмада ибн Маджида — почему? Вероятно, потому, что, испещренные причудливыми географическими названиями, они напоминали образцы классической картографии, которой мне до того пришлось заниматься? И потому, что к стихотворной форме я был неравнодушен с тех пор, как стал разбирать найденный незадолго до того «диван» [1] ширванского поэта? Начались кропотливые разыскания. Удалось установить, что поэмы Ахмада ибн Маджида представляют руководства для плавания в разных частях Индийского океана. О, это уже нечто новое в арабской литературе... Далее, французский исследователь Габриэль Ферран путем скрупулезных исследований пришел к выводу, что Ахмад ибн Маджид был тем самым лоцманом, который провел корабли Васко да Гамы от Африки к Индии. Вот как!.. Восточный мореход был не только виртуозом судовождения в таинственных южных морях, но и крупным теоретиком навигации; однако за четыре с половиной столетия многие из его рукописей пропали; два сохранившихся сборника оказались в Парижской Национальной библиотеке, где долго пребывали в забвении, пока в 1912 году Ферран и его сотрудник, ученейший Годфруа-Демомбин, обнаружив, не извлекли их на рабочий стол... Так, так, дальше...

А я держу в руках том, не побывавший в руках французских ученых, жемчужину ленинградского академического фонда, единственный в мире экземпляр с неизвестными науке сочинениями арабского лоцмана! Этот уник

---

[1] Стихотворный сборник (*араб.-перс.*).

был открыт еще в 20-х годах И. Ю. Крачковским, внимательно следившим за изысканиями Феррана. Четвертый том избранных работ главы нашей арабистической школы указывает на его серьезный и плодотворный интерес к средневековой арабской географии и ее месту в общечеловеческой культуре.

Взволнованный, я побежал к Игнатию Юлиановичу, но он был занят; я снова и снова перечитывал свои лихорадочные записи и смог их несколько «причесать». На десятый день Игнатий Юлианович сам подошел ко мне: он был скрупулезно точен во всех назначаемых им сроках, так же как тщательно выполнял все свои обещания. Выслушав многословный и пылкий монолог о рукописи Ахмада ибн Маджида, Крачковский в сдержанных выражениях одобрил мою работу; когда я сказал, что хочу продолжить занятия этой темой, чтобы впоследствии подготовить критическое издание нашего уника, он задумчиво отвел глаза от рукописи в угол комнаты и проговорил: «Мне кажется, не надо сразу брать на себя решение слишком больших задач; морская литература арабов ведь лишь недавно стала предметом изучения и сама по себе все еще представляет Mare incognitum;[2] если уж вам не хочется бросать штудий в этой области, достаточно пока было бы подготовить предварительное, хотя бы суммарное описание сей, я с вами согласен, весьма и весьма любопытной рукописи».

Так начинался труд, заполнивший — наряду с изучением «дивана» Аррани, о котором речь будет ниже, — мою жизнь в арабистике. Ни мудрый академик, исследовавший множество древних рукописей, ни юный студент, едва прикоснувшийся к науке, не думали ни о «пролитии пота», ни о сладостном громе победных литавр — просто надо было попытаться не спеша, осторожно, собравши воедино всю силу ума, развязать еще один узел востоковедения.

* * *

— Как дела, друг?

Это ученый секретарь академического института Муратов, молодой веселый кандидат наук, тюрколог, встретив

---

[2] Неизведанное море (*лат.*).

меня в коридоре, дружелюбно улыбается, подходит, хлопает по плечу.

— Как работается у нас?

Я смущен этим вниманием ко мне, этим теплом человечности, исходящим от белозубой улыбки и внимательных глаз.

— Ничего, Хасан Исхакович...

— Фу, «ничего»! Ничего — это нуль. Если хорошо, скажи «нормально».

— Нормально дела идут, Хасан Исхакович, — улыбаюсь я в свою очередь.

— Ну вот! Не притесняет тебя никто?

— Да что вы! В Арабском кабинете очень хорошие люди: если о чем спросишь, или что-нибудь надо найти, все помогают...

— Ладно. Так должно быть. Рукописями занимаешься?

— Да, вот мореходные поэмы пятнадцатого века. Знаете это...

— Знаю: лоцмана Васко да Гамы. Крачковский говорил о них Александру Николаевичу,[3] и я там присутствовал. Он и о тебе говорил. Ты давай жми: раскрыть эту рукопись — дело нужное. Только не гордись раньше времени, а работай. У нас первоклассная востоковедная библиотека, уникальное хранилище рукописей — есть где набираться знаний. Но главный фонд, золотой фонд института — люди. Такого созвездия востоковедных светил нет больше нигде: Самойлович, Коковцов, Щербатской, Крачковский, Конрад, Алексеев, Генко, Фрейман... Люди не вечны, а созвездие должно быть всегда. Так что работай, учись, давай...

И я «давал»: в свободные от университетских занятий часы, с усилием отрываясь от рукописи ширванского поэта, приходил в Институт востоковедения и подолгу сидел над рукописью лоцмана Васко да Гамы, разбирая прозаические введения к поэмам.

Хасан Муратов погиб через четыре с небольшим года, защищая Ленинград от фашистских армий.

---

[3] Академик А. Н. Самойлович (1880—1938), тогдашний директор Института востоковедения.

* * *

Два обстоятельства вызывали у меня досаду в эту весну 1937 года — надвигавшаяся зачетная сессия и близившиеся каникулы: и то, и другое оторвет от работы над поэмами Ахмада ибн Маджида.

21 июня, сдав последний экзамен — он был по курсу академика Мещанинова «Новое учение о языке», — я вышел из факультетского здания, дошел до стрелки Васильевского острова, опустился на скамейку и полной грудью вздохнул: наконец-то! Прожит еще один студенческий год, пройдена еще одна сессия, еще один барьер, я уже пятикурсник! Удалось управиться за десять дней до начала каникул, впереди — отдых в дальней родной Шемахе, долгое, яркое, ароматное лето со всеми его удовольствиями — боже, до чего хороша жизнь!

Бюсты Росси и Кваренги, стоявшие на высоких пьедесталах в сквере против Биржи, четко рисовались по нежному золоту вечернего неба. Я их любил, я к ним привык: они ежедневно провожали меня каменными глазами в университет и обратно — жил я в общежитии на Мытне и на занятия ходил пешком.

Синьор Карло, маэстро Джакомо, как мне поступить с рукописью? Ведь привык я и к этим неровным строчкам вязи, медленно передвигающейся вперед, они — как долгая, увлекающая за собой тропа в неизвестное. И нельзя представить, чтобы целых два с половиной месяца можно было не биться изо дня в день над расшифровкой странных и манящих названий стран и поселений; это же будет какая-то опустошенная жизнь, и ничем другим ее не заполнишь, а потом станешь сожалеть о впустую прожитом времени. Да ведь даже и... ну, скучно, что ли, без этой работы, в которой для тебя... ну, конечно, не все, но многое.

Так чего проще? Надо взять рукопись с собой.

...Единственный в мире экземпляр принесен в общежитие, бережно уложен в чемодан, едет со мной в Закавказье.

Зрелая осторожная дама, моя бывшая сокурсница, — сейчас мы работаем в одном институте — выговаривает мне:

— Зачем об этом писать? Ведь ты поступил нехорошо. Подумай сам, как можно было увозить рукопись,

тем более уник?! Ведь это невосстановимо! Украли у тебя чемодан, или поезд потерпел крушение, или случился пожар в доме, где ты жил, — что тогда?

Правильно, мой друг; ты всегда отличалась благоразумием. Надо жить по часам, спать после обеда и не работать ночами, чтобы не повредить здоровью. А я, беспутный, не думал об этом. Вот, не захотел — и уже не смог бы, если и захотеть — отрываться от своей рукописи, взял да и увез. Каюсь — и не жалею о своем давнем проступке: сердцу моему безоглядная увлеченность милее пресного благоразумия. Каждый ли решится ухлопать свой отпуск на работу? А я решился; собственно, тут не было ни вопроса, ни раздумий. Ведь была безоглядная увлеченность; ею жива не только любовь, но часто и наука. Вряд ли Галилей или Менделеев делали свои открытия в наглухо застегнутых вицмундирах.

Молодость не всегда считается со строгими правилами хранения рукописей, которые, конечно, обязательны для всех.

...За лето предварительное описание рукописи морских поэм было составлено полностью. Назавтра после возвращения в Ленинград, радостно здороваясь с Игнатием Юлиановичем, я вручил ему свой новый опус на просмотр.

— Как, уже? — удивился он. — Когда же вы успели?

— Лето было долгое, Игнатий Юлианович.

— Что же, вы никуда не ездили? Не отдыхали?

— Ездил в Шемаху. И рукопись была со мной неотлучно.

Крачковский ахнул. Но выговаривать не стал.

Красный томик и сейчас хранится в рукописном отделе Института востоковедения. Его неизменно показывают иноземным гостям, и те благоговейно рассматривают незатейливый старинный переплет, а иногда и первые строки первой поэмы.

* * *

«Предварительное описание» не задержалось у Игнатия Юлиановича; вскоре оно было принято к печати, и это знаменовало завершение важного периода моей

работы, когда я многому научился, а главное — вошел в курс новой темы, весьма специфической и необычной, которой собирался посвятить и занятия в аспирантуре. До последней было уже рукой подать — всего четыре месяца отделяли нашу группу от защиты университетского диплома. Но здесь обстоятельства сложились так, что лишь в мае 1947 года я смог, тихим воспоминанием празднуя десятилетие начала своей работы над памятной рукописью, продолжить исследование — уже в плане подготовки диссертации. Было это в старом русском городе Боровичи, просекаемом задумчивой красавицей Мстой; на грубо сколоченном столе у окна моей комнатки виднелся не бесценный уник, а его фотокопия, и сам я был уже не студентом университета, а Privatgelehrte,[4] которому Крачковский раздобыл договорную работу по линии Института востоковедения. Эта работа отнимала много часов, но я еще в студенческие годы научился выкраивать время для того, чем особенно хотелось заниматься.

Мне представилось, что текст рукописи лоцмана Васко да Гамы, который должен лечь в основу диссертации, лучше всего можно узнать, переписав его своей рукой от слова до слова: только так можно охватить единой мыслью содержание в целом и его составные части, стиль и палеографические особенности. Другие показатели памятника будут выявляться позже, по мере углубления в текст ради точного перевода. За лето были переписаны 1132 стиха поэм и составлены указатели к ним. Осенью начались перевод и комментирование.

* * *

«Софальская: от Малабара и Гуджарата, Синда и Омана к Долгому Берегу и Мадагаскару против него, до земель Занджа и Софалы... Ходил туда, а его хожение есть открытие нового, четвертый после трех львов моря Ахмад сын Маджида».

Ясно: первая поэма описывает морские пути между Индией, Аравией и Африкой. Ведь Малабар — это область на юге индийского побережья, а Гуджарат — севе-

---

[4] «Частный», т. е. не работающий официально по своей специальности ученый (*нем.*).

Страница из рукописи трех лоций Ахмада ибн Маджида.

ро-западная приморская область. Синд лежит на севере Аравийского моря, его раскаленные земли прильнули к животворящим водам могучего Инда. Оман, в берега которого бьются волны двух широко простершихся заливов, Аденского и Персидского, — океанский форпост Аравии, поморье великого полуострова; здесь кончаются тропы гигантской пустыни, идущей на юг из-под Сирии и Ирака. Так, называя географические точки, последовательно расположенные в направлении против часовой стрелки, арабский лоцман очерчивает восточные границы описываемого им района. Западный рубеж продолжает направление движения: именем «Долгий Берег» арабы обозначили африканское побережье Индийского океана, а идя от него на восток, они, преодолев Мозамбикский пролив, вставали на якорь у Мадагаскара; приморская территория Зандж южнее Сомали и древний район золотодобычи в районе Замбези — Софала — упомянуты лишь в целях детализации. Таково плавное, почти смыкающееся кольцо, в котором заключено действие первой поэмы. Хорошо. А вот «...четвертый после трех львов моря»... Что это? Почему четвертый? ...Оставим пока самого автора, посмотрим еще раз (который уже раз!) начало второй поэмы.

«Малаккская: от берегов Индии до берегов Цейлона, Никобарских островов, Сиама и Суматры, Малакки и Явы. Описание того, что заключают в себе восток и юг, Тайвань и Китай, до предела вулканических скал, вздымающихся над мир обходящим морем. Это поэма четвертого после трех львов моря Ахмада сына Маджида. Бог да взыщет его Своею милостью, равно как всех мусульман!».

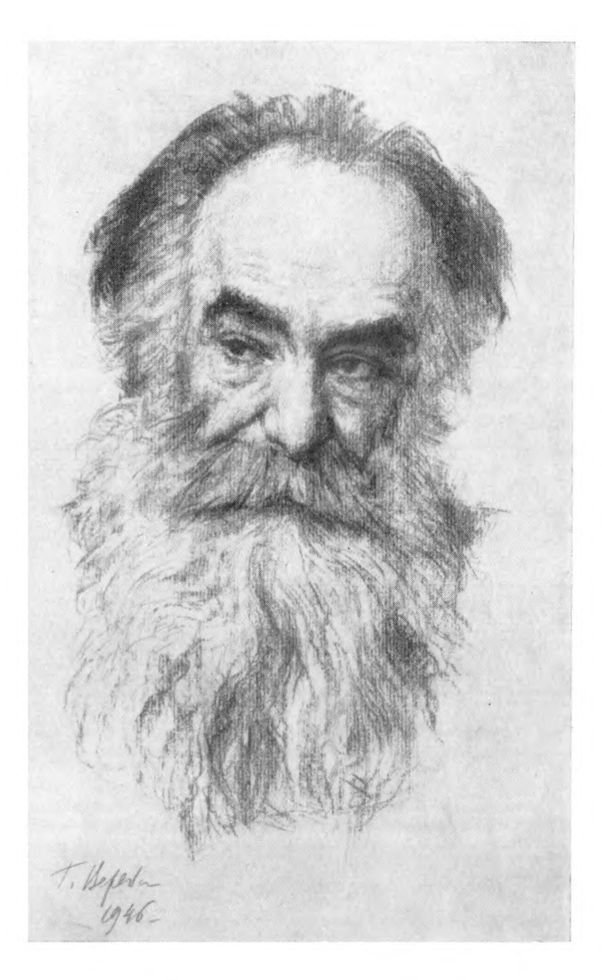
Это уже Бенгальский залив, индонезийская акватория, Южно- и Восточно-Китайское море... Вот куда ходил арабский кормчий, родившийся в оманской гавани Джульфар, «мавр из Гуджарата», как называли его португальские хронисты следующего — шестнадцатого века! Такой размах путешествий дает основание полагать... Но подождем с выводами, под них нужно подводить более широкую основу. А надо обратить внимание... да, да, надо, ведь вот опять «четвертый после трех», значит, не случайно это выражение. А в третьей поэме, дай бог вспомнить, что там?

«Эта поэма описывает измерение звезд и течение Ве-

И. Ю. Крачковский
за работой.



Андрей Петрович
Ковалевский
(1895—1969).



Иосиф Абгарович Орбели (1887—1961).

ликого моря от Адена до Джидды. Сказал ее паломник в преславную Мекку и осиянную Медину, четвертый лев моря, звезда веры, сокрушающая воинство сатаны, Ахмад сын Маджида, помилуй его, Боже!»

Как и при первом, десять лет назад, знакомстве с рукописью, я разочарован: чудились океанские волны, а тут «провинциальная», местного значения, акватория Красного моря, названного претенциозно «Великим»! Аден — Джидда, путь мусульманских пилигримов, отсюда и «паломник в преславную Мекку и осиянную Медину»... Но вновь «четвертый лев моря», что же, наконец, это значит?

Старые мои конспекты, драгоценные конспекты скудной литературы вопроса, не сохранились — у бурного вихря пережитых событий спроси, где они? Надо начинать проработку сызнова, надо ехать в Ленинград. Только ненадолго...

* * *

На вокзале, выйдя из вагона, — к телефону:

— Игнатий Юлианович...

— А-а, здравствуйте! Рад вас слышать. Давно приехали?

— Только что. Можно мне к вам сегодня?

— Пожалуйте. Вечером, в семь часов. Удобно вам?

— Конечно. Спасибо, Игнатий Юлианович.

И снова родная Университетская набережная, Румянцевский сквер, сфинксы. Неширокий двор старого академического дома, лестница, пробегаемая одним махом, дверь с именной дощечкой. И снова глядят в душу внимательные глаза на постаревшем лице.

— Так вы сюда по морским делам... Надолго?

— На три дня, Игнатий Юлианович, больше нельзя.

— Понимаю. У вас ко мне есть вопросы?

— Вопросы вообще накопились, но я сперва хочу попробовать решить их сам.

— Похвально. Однако помните, что поскольку вы работаете на отшибе, какая-то книжная новинка по вашей части может пройти мимо вас, и тут я готов остановить

в нужный момент ваше внимание на том или ином полезном опусе, а может быть и подать совет в час ваших сомнений, насколько, конечно, хватит моих сил...

— Игнатий Юлианович, у кого еще столько сил?

— Ну, комплиментов говорить не надо, это лишнее. Скажите-ка лучше, что же, выясняется что-нибудь более или менее стоящее из этих лоций?

— Да, Игнатий Юлианович, вот, например, ведь как интересно, что...

И я увлеченно, забывая смотреть на часы, стал рассказывать о своих первых наблюдениях над текстом. Крачковский слушал, не перебивая.

— Это так поразительно, Игнатий Юлианович... Ведь нельзя было ждать, чтобы в пятнадцатом веке... Эта прециозность вычислений по звездам... Ареал морских путешествий... Устойчивая терминология... Отсюда следует...

И тут он остановил меня пристальным взглядом, перед которым я по-студенчески робел.

— Отсюда следует, прежде всего: не увлекайтесь. Все то, что вы говорите, интересно, и я далек от мысли недооценивать значение рукописи Ибн Маджида. Однако нужно опасаться скоропалительных выводов, тем более что ваша область — это почти нетронутый пласт арабистики. Проверяйте себя — неустанно, строго и не спеша. Увлеченность новооткрытыми арабскими источниками мореходной книги турок — вы знаете, о чем я говорю, — внушила Габриэлю Феррану его несправедливый, уничижительный отзыв о труде стамбульского адмирала. А ведь это Ферран! Что же, посмотрим, насколько серьезно вы сможете обосновать свои восторги в диссертации... И раз уж мы вспомнили Феррана, хочу вам посоветовать: сверяйтесь почаще с его работами, он ведь отдал много лет изучению вашего автора...

— К сожалению, он не успел критически издать ни одной лоции...

— Что делать, все мы смертны. Вот и Юшманов, сколько бы он мог еще создать — я не имею в виду листажа, конечно, ведь он писал крайне лаконично, и в этом одна из его заслуг; действительно, для того, чтобы вкладывать в малые формы столь значительное научное содержание, надо быть большим мастером... Так много было ему дано, так интенсивно он работал и столько

было у него новых замыслов... А сгорел, истаял, как свеча...

Голос Крачковского дрогнул, он отвернулся к окну.

— Не верится, что нет уже Николая Владимировича, — тихо отозвался я. — И никогда не думалось, чтобы он, такой жизнерадостный и не болевший, то есть, я хочу сказать, не пропускавший ни одного своего занятия с нами, вдруг...

— Вы, я слышал, потеряли юшмановскую «Грамматику»? — спросил Игнатий Юлианович.

— Да, такое несчастье! Зашел в мастерскую с книжкой в руках. Снимая часы, чтобы отдать в ремонт, положил ее на прилавок. Часы починили, я вышел на улицу, и вдруг как ожгло: арабскую грамматику оставил! Мигом вернулся, а ее и след простыл, и никто не видел, куда исчезла. Как молнией спалило! Она случайно сохранилась от студенческих лет, другой, конечно, уже не достать: тираж — одна тысяча, а напечатана двадцать лет назад...

Крачковский встал и, сняв с полки книгу, протянул ее мне.

— Возьмите вот. Каким-то чудом застрял у меня этот лишний экземпляр, совсем новый, даже еще не разрезанный. Должно быть, как редактору, мне когда-то дали несколько добавочных...

Я перечитывал заглавие на темносерой обложке: «Н. В. Юшманов. Грамматика литературного арабского языка» — и не верил своим глазам.

— Спасибо, Игнатий Юлианович.

Этих простых слов было достаточно: он не любил излияний.

— «Зачем я сюда приходил? — думал я, выйдя от Крачковского. — Не за грамматикой же, и вопросов у меня к нему сегодня не было... А приходил затем, чтобы... Да, мне нужно хотя бы время от времени... видеть и слышать его и знать, что этот человек еще есть на земле... Ведь после каждой встречи с ним чувствуешь на себе крылья и весь освежаешься... А без этого и дела не двинешь... Или двинешь? Нет. Вот, ведь и строг, всегда чувствуется, как это называется в Коране... «Ба́рзах»... Да, «ба́рзах», непреодолимая преграда меж двумя мо-

рями, чтобы они не слились... Ну, может быть, не такой уж абсолютный рубеж, но во всяком случае определенная грань, создаваемая всеобщим уважением, пиететом, она удерживает всех на почтительном расстоянии... С ним не посмеешься запросто, не побалагуришь, как, бывало, с Николаем Владимировичем... Но разве я не чтил Юшманова, разве не окутано его имя в моих воспоминаниях ореолом высокой и чистой святости? Вероятно, дело тут в разнице темпераментов — и, конечно, в том, что внешне, за пределами науки, Крачковский и Юшманов прожили разную жизнь и поэтому неодинаковы были многие из ощущений, приносивших им внутреннюю гармонию... Строг Игнатий Юлианович... Но и добр и сердечен — не ради позы и эффекта, а велением своей натуры. Ты делаешь свои дела, а он в это время думает, как тебе помочь, и помогает, и смущается от слов благодарности. Чистый он, тянет к нему...».

Назавтра — в Публичку, в Библиотеку Академии наук, в читальный зал Института востоковедения. Считанные дни пребывания на брегах Невы расписаны по часам. ...Конспекты росли. Кое-какие книги, взятые старыми товарищами на свои абонементы, отбыли со мною на брега Мсты до следующего приезда.

* * *

«В течение моего пятимесячного пребывания в Басре, длившегося до наступления муссона, а затем во время трехмесячной переправы моей из Басры в Индию в период от начала [месяца] шаба́на до окончания шавва́ля, таким образом, на протяжении полных восьми месяцев, я не упускал ни мгновения, чтобы не беседовать, днем и ночью, на морские темы с находившимися на борту лоцманами и моряками. Так я узнал, как давние кормчие из Хурмуза и Хиндустана — Лайс сын Кахла́на, Муха́ммад сын Шаза́на и Сахл сын Аба́па — когда-то плавали по Индийскому океану. Но я еще собрал и книги, составленные современными мореходами, такими как Ахмад сын Ма́джида из Джульфара в Омане и Сулайма́н сын Ахмада из города Шихр в [южноаравийской] области Джурз, — таковы трактаты «Пользы», «Содержащая», «Дар мужам», «Путь», «Ожерелье солнц» — и основа-

тельно изучил каждую из них. Ибо, в самом деле, чрезвычайно трудно было плавать без них в Индийском океане: капитаны, коменданты и матросы, не искушенные в таком плавании, постоянно испытывали потребность в лоции, так как им нехватало необходимых знаний. Я почел своими, по меньшей мере, долгом и обязанностью извлечь из упомянутых книг лучшее, чтобы перевести и, таким образом, составить хорошую книгу, так, чтобы те, кто захотели бы получить от нее указание, достигли своей цели, не испытывая нужды в какой-либо другой лоции и не ища в сей науки. В этих видах, вверившись помощи божьей и призывая покровительство высокого пророка и святыни блистающей, я со всей страстью, сердцем и разумом приступил к переводу, а также присовокупил некоторые полезные указания и в короткое время, при содействии Всевышнего, свершил это переложение. Так как лежащая перед нами книга заключает в себе все удивительные явления мореходства, озаглавлена она „Заключающей в себе". Просим, дабы дружелюбные читатели пожелали исправить встреченные ошибки и недосмотры пером прощения, и надеемся, что те, кто извлекут из этого труда пользу на море, вспомнят о нас, призывая благословение».

Так начал свой труд 1554 г., энциклопедию мореходных знаний, турецкий адмирал Сиди́ Али́ ибн Хусейн Челеби́, известный на берегах Босфора, кроме того, как незаурядный поэт Кати́б-и Рум. Этот широко образованный человек, которого неровная судьба сделала сподвижником османского правителя Алжира — знаменитого Хайредди́на Барбароссы — и приближенным султана Сулайма́на, интересовался и звездным небом: он перевел на турецкий язык астрономический трактат Али́ Кушчи́, близкого помощника Улуг-бека; по странному совпадению, работа была закончена в 1549 г., когда минуло ровно сто лет со дня гибели во дворе безвестного караван-сарая великого среднеазиатского ученого. В 1553 г. Сиди Али получил веление султана отвести пятнадцать галер турецко-египетского флота из Басры, где они были заперты португальскими кораблями, в Суэц. В момент прорыва блокады португальцы дали бой, и страшный пятисуточный шторм пришел к ним в союзники; яростные волны Аравийского моря выбросили на гуджаратский берег в северо-западной Индии адмирала и немногих спасшихся

его спутников на девяти чудом уцелевших галерах. Али Рейс[5] был не только образованным, но и мужественным человеком: еще не зная, что ждет его при стамбульском дворе после только что перенесенной катастрофы, он смог собрать оставшиеся силы для создания сложного энциклопедического труда, о котором только что говорилось, и успешно справился с этой задачей.

Книга турецкого адмирала была первым документом, в котором имя арабского лоцмана Ахмада ибн Маджида предстало перед европейской наукой. Никто, однако, и прежде всего австрийский ориенталист Хаммер-Пургшталь, издавший в 30-х гг. прошлого века фрагменты энциклопедии Челеби, не придавали этой ссылке значения: арабские источники, о которых говорится в предисловии, считались безвозвратно утерянными. Понадобилось восемь десятилетий для того, чтобы в результате случайной находки этих источников в фонде Национальной библиотеки Парижа личность мореплавателя из Джульфара стала, благодаря скрупулезным исследованиям Феррáна, приобретать все более живые черты. Идя от этих исследований, я с тем большим интересом прочитал имя «Ахмад ибн Маджид» в турецком своде: это и позволило до конца оценить подвиг французского ученого и, главное, пополнило сумму моих знаний об избранном авторе. Громка, оказывается, была его посмертная слава, вхожи были его слова в чужие души и всхожи мысли. С гордостью за давно прошедшего по земле человека, чей образ сопровождал меня уже десять лет, я перечитывал отзыв стамбульского адмирала-энциклопедиста о нем: «искатель правды среди мореплавателей, наиболее заслуживающий доверия из лоцманов и моряков западной Индии в прошлом и нынешнем веках». Мужество Челеби продолжало жить: он не только открыто назвал свои источники — далеко не все восточные писатели той поры были достаточно щепетильны в этом отношении, — но и воздал должное человеку, ранее него прошедшему трудный путь создателя долговечных руководств по навигации при несовершенных средствах.

---

[5] Последнее слово, арабского происхождения, означает в старотурецком титул «начальник флота»; от арабов Средиземноморья ар-рáис — «капитан» — перешло и в испанское arraez с тем же значением.

Однако Ахмад ибн Маджид — это уже четвертый «лев моря». Кто же три его славных предшественника? Не эти ли «давние кормчие из Хурмуза и Хиндустана», Лайс ибн Кахлан, Мухаммад ибн Шазан и Сахл ибн Абан, которых первыми поминает Сиди Али Челеби?

Низко склонившись над столом — в подвальной каморке смеркалось рано, а свет в Боровичах давали только с восьми часов вечера, — я продолжал читать свои конспекты. За текстом предисловия Сиди Али к его энциклопедии шла запись проработки главного труда Ахмада ибн Маджида, сделанная в ленинградской Публичной библиотеке, где хранился единственный тогда в нашей стране экземпляр факсимильного издания работ арабского морехода. Турецкий адмирал хорошо знал крупнейшее сочинение знаменитого предтечи и в предисловии к своей «Заключающей в себе» обозначил его кратко и точно: «Пользы»; в авторской рукописи оно называется «Книга польз в рассуждении основ и правил морской науки». Открывает книгу глава об истории мореплавания, и здесь... Да, больше искать не нужно — впрочем, и негде, — вот ответ на давно возникший вопрос.

«В это время...

(Автор говорит о XII веке; еще правят мусульманской державой «сыны Аббаса», Аббасиды, со столицей в Багдаде).

...жили три известных человека: Мухаммад сын Шазана, Сахл сын Абана и Лайс сын Кахлана... Они занимались сочинением путеводителя, имеющего начало: „Воистину, мы открыли тебе..." Нет в нем ни стихотворного изложения для удобства запоминания, ни внутренней связи, ни законченности, ни достоверности, в нем добавишь и убавишь. Они излагали чужое, а не добытое своим опытом: по морю плавали только в Персидском заливе... а про всякий берег расспрашивали его жителей и записывали это.

...Бо́льшая часть их науки была посвящена особенностям побережий и прибрежного плавания, главным об-

разом под ветром[6] и в Китае. Описанные ими гавани и города исчезли, имена местностей изменились до неузнаваемости и сейчас их наука не приносит пользы ничем, что имело бы достоверность. А делают это наши знания и открытия, заключенные в сей книге, ибо... ничто в них не противоречит опыту.

Преемник начинает оттуда, куда дошел предтеча. И мы почтили их науку и сочиненье, прославили их способность — да осенит их милость божья! — сказав: „Я — четвертый после Трех“. Четвертый — но часто в той науке об открытом море, которую мы создали первыми, один листок описания по своей убедительности, достоверности и полезности, способности верно водить суда и указывать им путь стóит большей части того, что они сочинили.

...Эти трое... сочинители, не испытатели. Я не знаю им четвертого, кроме себя. Я почтил их, сказав, что являюсь четвертым за ними, ибо они опережают меня лишь во времени. После моей смерти придет час, когда люди оценят каждого из нас».

Мухаммад ибн Шазан.

Сахл ибн Абан.

Лайс ибн Кахлан.

Ахмад ибн Маджид.

Четыре «льва моря», изошедших в первый раз из раскаленных аравийских пустынь, чтобы покорять строптивую стихию вод; во второй раз — из давно забытых рукописей, чтобы внушить сомнение в безупречности традиционной концепции, считавшей арабов исключительно «сынами пустыни». Ахмад ибн Маджид был по натуре поэтом: имя его непосредственного предшественника Лайс, означающее по-арабски «лев», дало ему яркий образ.

* * *

13 июля 1944.

Дорогой Шумовский! ...Еще в начале полугодия, узнав Ваш адрес от Василия Васильевича,[7] я написал Вам,

---

[6] К востоку от мыса Коморин в Индии.
[7] Академик В. В. Струве (1889—1965).

но очевидно послание не дошло по назначению. Очень хотелось бы узнать про ваше житье...

Ваш И. Крачковский.

5 сентября 1944.

Дорогой Теодор Адамович!

...Очень рад был узнать о Вашей жизни, которая теперь представляется мне яснее; кое-какие сведения доходили до меня раньше, но случайно.

...У меня до сих пор хранятся набранные гранки Вашей «Картографии», которые со временем послужат основой, ин шаа ллах,[8] «второго» издания. В моей печатающейся книжке «Над арабскими рукописями...» (единственном дельном результате моей эвакуации) Вы увидите упоминание и Вашего Ибн Маджида.

Ввиду всяких жилищных сложностей едва ли стоит Вам сразу стремиться в Ленинград. Может быть, Вы напишете в виде пробного шара... о возможности получить для Вас работу в Институте рукописей Узбекской Ак. наук. Я, со своей стороны, буду думать о других путях возврата к арабистике, ибо она Вас ждет и Вы от нее не уйдете...

Ваш И. Крачковский.

10 ноября 1944.

Дорогой Т. А.,

Ваше письмо от начала октября получил благополучно; утешило оно меня известием, что книга «Культура Испании» дошла. Это дает мне повод направить Вам (через несколько дней) другую книжку — В. Ф. Шишмарева, по случайному совпадению из области тех же Ваших испанских штудий, о которых Вы упоминаете. Надеюсь, что она тоже до Вас дойдет и доставит Вам некоторое развлечение. По Вашим делам некоторые шаги предпринимаю систематически в разных направлениях; может быть, в конце концов что-либо и выйдет...

Ваш И. Крачковский.

---

[8] «Если пожелает аллах» (*араб.*). — формула «ограничения» (истиснá) в арабском разговоре, здесь с шутливым оттенком.

24 января 1945.

Дорогой Т. А.,

Ваше письмо от 28 декабря получил с неделю тому назад и на днях послал Вам телеграмму с вопросами, так как ректору Университета понадобились некоторые сведения, которых я не мог сообщить. Надеюсь, она до Вас дошла... Думаю, что в конце концов удастся Вас куда-нибудь устроить...

Ваш И. Крачковский.

1 мая 1945.

Дорогой Т. А.,

Ваше письмо от 5 марта... я получил 20 апреля. Тогда же отправил случайно попавшиеся мне сочинения Жуковского, среди которых имеется Рустем и Зохраб. Не знаю, в какой мере это Вам пригодится, но надеюсь, что книжка до Вас дойдет и немного развлечет. Я как-то в прошлом году перечитывал опять работу А. Н. Веселовского о Жуковском и опять с прежним удовольствием. Для Рустема и Зохраба, будь Вы здесь, я бы попросту дал Вам перевод сербский Байрактаревича, крупного ориенталиста, лучший, по-моему, перевод с подлинника стихами...

... В феврале скоропостижно скончался от паралича сердца А. П. Рифтин... Из Ваших сокурсников... Гринберг убит на войне в самом начале.

... Старайтесь ... быть здоровым: будем думать, что постепенно прочее наладится.

Ваш И. Крачковский.

26 ноября 1945.

Дорогой Т. А.,

я уже телеграфировал Вам, что обращение от Института [об откомандировании меня в академическую аспирантуру, — *Т. Ш.*] направлено с моим отзывом, и теперь посылаю черновики...

... В Университете в этом году часов у меня немного — шесть, но как-то выходит, что подготовка занимает порядочно часов. В этом, конечно, я сам виноват. Читаю два курса — введение и историю [арабской] литературы, постепенно они превратились у меня совсем не в то, что было в Ваше время. Введение хотел в этом году передать по старой памяти Юшманову, но он все хворает и может вести занятия только на дому с одним-двумя слушателями.

... Стараюсь устраивать систематически одну субботу заседания Кафедры, другую — [Арабского] Кабинета [Института востоковедения]. Народ в общем ходит, но с докладами приходится отдуваться главным образом мне. Мои младшие коллеги как-то тяжелы на подъем.

... Будьте же здравы и старайтесь продержаться.[9]

Ваш И. Крачковский.

7 апреля 1946.

Дорогой Т. А.,

... мы со Струве направили писание на имя Филиппова. Если результаты его будут таковы же, как предшествующих, будем искать каких-либо дальнейших путей в Москве.

... Получил Ваше поздравительное послание от 4 марта. Вы правы и память на даты у Вас хорошая: по официальным данным я появился на свет 4 марта по старому, 16-го — по-новому стилю. Правы Вы и в том отношении, что избран я в Академию 9 ноября 1921 года... Всякие даты я люблю и чужие юбилеи тоже, но своих терпеть не могу, о чем прошу всех всегда помнить; такова уж моя идиосинкразия...

... Позавчера хоронили на Шуваловском кладбище Н. В. Юшманова, умершего 2 апреля. Доконали его астма и эмфизема легких, особенно усилившиеся после эвакуа-

---

[9] В смысле здоровья: у меня был тогда скорбут.

ции и пребывания в Алма-Ате, горный климат которой вообще плох для «сердечников». Последние полгода он явно сходил на нет, совсем не мог выходить из дому и вел только очень мало занятий с двумя студентами...

Ваш И. Крачковский.

14 февраля 1947.

Дорогой Т. А.,

...радуюсь, что Ваша работа... двинулась... Думаю, что работа над переводами специального содержания будет Вам полезна, и с интересом со временем их просмотрю...

...Просмотрел диссертацию [О. П.] Петровой о японском флоте и вижу, что Вам будет полезно использовать ее библиографию работ о морской терминологии...

И. Кр.

9 апреля 1947.

Дорогой Т. А.,

...радуюсь, что Вы, в меру боровичских возможностей, преуспеваете в трудах. Благодарю Вас за приветствие ко дню рождения, которое я обыкновенно отмечаю только мыслями о датах...

...Вчера получил из отдела кадров Академии предложение представить «развернутые» отзывы касательно Старковой, Ковалевского, Писаревского [10] и Вас. Последнего не понимаю: с одной стороны, можно человека не утверждать [в аспирантуре] и денег ему не платить, а отзывы уже писать. Займусь этим делом, ин шаа ллах, в воскресенье...

Ваш И. Крачковский.

---

[10] К. Б. Старкова (р. в 1915) — гебраист, А. П. Ковалевский (1895—1969) и Л. З. Писаревский (1905—1976) — арабисты.

17 июня 1947.

...Очень рекомендую приложить все усилия к тому, чтобы отдохнуть и несколько восстановить силы, ибо зима, как всегда, будет хлопотливая и требующая энергии...

Ваш И. Крачковский.

7 июля 1947.

...хотя искусство отдыха великое и сложное дело, но надеюсь, что и кустарным путем Вы сможете в этом предприятии достичь должных результатов...

Ваш И. Крачковский.

4 декабря 1947.

Дорогой Т. А.,

очень благодарю Вас за письмо от 1 декабря с добрыми словами и пожеланиями по моему адресу. Надеюсь, что я выправлюсь и дойду до какого-то нормального уровня, которого все еще достичь не могу. Позавчера меня опять смотрела компания знаменитостей и повторила приблизительно то же, что мне говорят весь ноябрь. Катастрофического в моем состоянии ничего нет, но нужна большая осторожность...

...С завершением работы, как и раньше, советую не очень торопиться — материалы такого рода требуют всегда значительных сроков. К защите считаю нужным иметь во всяком случае текст, ибо он основа всего (конечно, в достаточно критическом и обоснованном издании). Текст остается навсегда, перевод может постепенно улучшаться, а исследование, строго говоря, самая неустойчивая часть. Если бы моя власть, я бы всех аспирантов пропускал бы через подготовку какого-нибудь критического издания. В данном же случае без текста теряется $^{9}/_{10}$ значения. Конечно, все это с моей точки зрения. [Ахмада] ибн Маджида, конечно, полезно пропагандировать среди нашей географическо-морской публики, и будет хорошо,

если напишете о нем статью. Показательно, что в книжке Кунина о Васко да Гаме о нем нет ни слова...

Ваш И. Крачковский.

28 декабря 1947.

Дорогой Т. А.,

...Вашу статью видел в № 5 «Известий» Географического общества... Относительно перепечатки [диссертации] на машинке можно придумать такой исход. Если Вы разыщете машинистку и бумагу, то я берусь оплатить то и другое...

Ваш И. Крачковский.

29 января 1948.

...получил сегодня Ваше письмо и очень рад, что «Аида» Вас не разочаровала. Я слыхал ее, конечно, не с такими голосами, как теперь, и до сих пор не могу забыть некоторых италианцев, отчего, за отсутствием Фигнера и Собинова, почти не могу слышать современных теноров...

...Всего хорошего — не хворайте.

Ваш И. Крачковский.

Жизнь сложна.

Когда становилось трудно работать над диссертацией или от внешних невзгод просыпалась давняя усталость и опускались руки, я перечитывал письма Игнатия Юлиановича. Они целили и вдохновляли. Подробные, обстоятельные, когда он только успевал их писать...

* * *

Говорят: «на ловца и зверь бежит». Применительно к работе над рукописями это не всегда верно. Как долго и упорно я ни разыскивал сторонние свидетельства о ширванском поэте Аррани, чей сборник в чудом сохра-

цившемся единственном экземпляре когда-то попал в мои руки, поиски пока ни к чему не привели. Конечно, трудно предполагать, чтобы среди осторожных писателей средневековья мог легко отыскаться тот, кто безбоязненно решился бы восстанавливать в памяти подданных восточного монарха печальную повесть об опальном царедворце и публичной казни его вдохновенных творений велением шаха; в условиях антагонистического общества, взрастающего на кастрации мысли, все, что расковано, — рисковано, и смельчаку грозила бы возможность до конца разделить участь того, о ком он писал. Может быть, в таких расправах и погибли многие — или немногие — документы истории Аррани?... С другой стороны, примеры «Слова о полку Игореве» и «Витязя в тигровой шкуре», в конце концов даже Шекспира говорят о том, что наш случай — не единичный и, следовательно, не сверхъестественный. Но... «Но сердцу хочется надеяться на что-то лучшее вдали...» И поиски продолжаются. Наоборот, при переводе лоций современника Аррани — Ахмада ибн Маджида — меня ждал неожиданный успех, заставивший по-новому взглянуть на забытую рукопись.

Работая над ней, я был готов, конечно, к открытиям и хотел их — иначе к чему изнурительный труд филолога, требующий величайшей сосредоточенности и самоотречения? Сама мысль о том, что передо мной лежит уникальный памятник неизученного жанра арабской литературы, созданный выдающимся мастером, заставляла смотреть на каждую фразу текста как на откровение и искать в ней глубокий смысл. Слово «осторожность» голосом Игнатия Юлиановича постоянно звучало в моих ушах, но и на четвертом десятке лет человеку еще свойственно увлекаться и рваться в неведомое с бо́льшим пылом, чем это разрешают строгие заповеди науки. Я по многу раз перечитывал подробные описания фарватеров и признаков близкой суши в океане, таблицы звездных высот и морских глубин, стараясь составить себе реальную картину и, более того, одновременно начав строить теорию и ища ей все новых подтверждений. Некоторые ее положения, как показало время, оказались чересчур поспешными и решительными, но основное ядро вошло в основание будущей концепции. Новое лоно деятельности «сынов пустыни», новый аспект истории арабского халифата, его экономики и культуры, целый новый мир, качественно

отличающийся от того, который известен традиционной науке и признан ею... Это звучало сильно.

Однако... да, как это ни сильно, ни заманчиво, но работа, исходящая всего из тысячи с небольшим строк стихотворного текста, могла быть не более чем кандидатской. Почему? Потому что с неширокого основания нельзя взметнуться слишком высокому столпу — он рухнет под напором ветра даже средних баллов или в силу собственной тяжести; иначе говоря, сколь чарующими слух и услаждающими душу ни были бы выводы исследования, проработка материала трех сравнительно небольших лоций еще не дает права предлагать обязательные рекомендации и говорить о перевороте в науке. Выводы на стадии первой ученой степени должны быть подчеркнуто скромными, осторожными, осмотрительными, уместно даже сказать — робкими: ведь вы исходите из уважения к тому, что уже достигнуто в науке. Завтрашний кандидат еще не утверждает непререкаемо: «это было так и не могло быть иначе»; эти слова он скажет лишь подойдя к степени доктора, когда в пользу его выводов будет свидетельствовать громадный, тщательно проработанный им материал; пока он лишь, радостно удивляясь, говорит: «смотрите, а ведь могло быть вот как, а не так, как думали до сих пор. Вот этот материал, пусть небольшой, но неоспоримый, позволяет увидеть то, чего не видели раньше, и, право же, этим сто́ит заняться глубже, проверить все эти исключительно интересные выводы на большем количестве случаев». Он утверждает еще не необходимость, а возможность иного подхода, иного толкования, иного понимания того, что казалось уже навсегда решенным.

Было время, когда я забыл это золотое правило, — вернее, оно отступило в тень перед сильным возбуждением, которое я испытал, нежданно прочитав в первой лоции следующие строки:

Пришли в Каликут франки в девятьсот шестом году.[11]
Там продавали, покупали и подкупали, владели и притесняли.
Прибыла с ними ненависть к исламу! И люди стали в страхе и заботе.
Земля мекканская стала отрезанной от владений заморина и Гвардафуй был прегражден для странствующих.

---

[11] Мусульманского летосчисления = 1500/01 г. н. э.

...Это франк, покоривший западные земли и от кого зависел
подвластный ему Андалус.[12]

О Восточной Африке:

Прошли здесь в девятисотом году[13] корабли франков, брат.
Они шли здесь полных два года и явно поворачивали к Индии.
...По этому пути франки вернулись из своей Индии в Зандж,[14]
А затем, в девятьсот шестом году, снова прибыли в Индию.
Приобрели там дома, поселились, опирались на заморина.
Сомневались люди насчет них — этого мудреца или того вора
безумного.
А они чеканили монету посреди порта Каликут.
Когда бы ведать мне, что от них будет! Люди поражались
их делам...

Если знать, что франками арабы называли европейцев Западного Средиземноморья, а здесь конкретно имеются в виду португальцы, что Каликут — это порт на Малабарском берегу Индии, куда 20 мая 1498 года Ахмад ибн Маджид привел корабли Васко да Гамы, и что «заморин», или саморин — это титул каликутского царька (индийское «самудриа раджа» — «повелитель морского берега», с чем связано и название Суматры), то картина будет ясна: арабский мореход говорит о драматических событиях, связанных с утренней зарей португальской колонизации на Востоке. Посланцы лиссабонского двора, огнем и железом подавляя всякое сопротивление, подчиняли богатые восточные княжества небольшому государству на крайнем юго-западе Европы. Действие инструкции короля Маноэла от 6 апреля 1480 года, предписывавшей топить все иноземные суда у побережья Гвинеи, было распространено на район к востоку от мыса Доброй Надежды, и множество мирных восточных парусников со старцами и детьми на борту ушли, под гром королевских пушек, на морское дно; Индийский океан становился португальским озером. Океанское судоходство арабов сделалось каботажным и хирело, их заморская торговля пришла в упадок, завершался долгий и яркий период расцвета аравийской экономики. Когда старый (в пору описываемых событий) лоцман отмечает, что «земля мекканская стала отрезанной от владений заморина», то в этих

---

12 Так арабы называли Испанию.
13 = 1494/95 г.
14 Область в Восточной Африке.

словах надо видеть реминисценцию индо-арабских морских связей, начавшихся еще в эпоху Вавилона; теперь на авансцену вышла португальско-индийская связь, но она была односторонней. «Завоевание Индии португальцами ... имело целью *импорт* из Индии. Об экспорте туда никто не помышлял», — писал Энгельс Конраду Шмидту 27 октября 1890 г.[15]

Ахмаду ибн Маджиду, который привел к берегам Индии первые португальские корабли, довелось быть живым свидетелем трагедии народов, трагедии дела его жизни.

Когда бы ведать мне, что от них будет!..

Он ли сказал эти слова, он ли, только что с профессиональным спокойствием, деловито и сухо повествовавший о ветрах в то или иное время года, о высоте стояния над разными местностями звезд «Катафалка», «Двух Тельцов», «Лужка» — так причудливо называли арабы ковш Большой Медведицы, бету и гамму Малой, Канопус... Да, это сказал он, и неожиданный пассаж высвечивает его изнутри. Блистательная, но бесстрастная виртуозность универсального знатока южных морей, старательно подчеркиваемая в статьях французского первооткрывателя трудов Ахмада ибн Маджида, — это не суть, а форма. А трепет живой души, тронутой страданиями родины, смущенной злом и протестующей против него, — вот истинный лик этой натуры, и острые черты этого лика прорвались через монотонно серую ткань технических описаний, и ровный голос дрогнул... Вот какое свидетельство, полное большого политического смысла, хранит наш ленинградский уник, вот какое научное откровение...

— Счастлив твой бог! — сказал старый друг. — Диссертация тянет на докторскую...

— А почему бы и нет? — упоенно думал я, шагая по боровичским улицам — то на рынок, чтоб запастись картошкой, то в столовую, где обедал раз в три дня, чтобы съэкономить время. — Почему бы?... Ведь совсем в другом свете предстает этот давний человек, значит и произведения его должны быть прочитаны по-новому; в ре-

---

[15] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 415.

зультате наука обогатится знанием не только уровня географических, астрономических и навигационных представлений в средневековом арабском мире, но и уровня национального самосознания. Это же... Это же... Да, несомненно, надо ехать к Игнатию Юлиановичу, изложить ему все... Строг, а поддержит, от материала-то никуда не деться...

К счастью, эта упоенность прошла быстро. В одну из ночей, когда я лежал, неподвижно глядя в темный потолок моей комнатки, где колыхался неясный отсвет уличных фонарей, раскачиваемых ветром, мне вдруг вспомнилось, то, что сказал в своем завещании молодежи академик Иван Петрович Павлов:

«Последовательность, последовательность и последовательность. С самого начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в накоплении знаний.

...Второе — это скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе: я невежда».

Мудро сказал Иван Петрович.

Прежде чем заявлять свои претензии на — страшно сказать — высшую ученую степень...

А обязательно ли ее иметь? Нужное людям и добротно сделанное исследование не нуждается в лавровом венке.

...Или нуждается? Ради утверждения на библиотечной полке, то есть ради людей...

Демокрит... Рентген... Эдисон... Не знаю, писали они докторские диссертации?

«Плох тот солдат, который не хочет быть генералом»... Который не носит в ранце маршальский жезл.

...Но генерал и маршал в душе своей, в сути всегда остаются солдатами...

В голову лезли разные мысли.

Одно прояснилось, вместе с ночным небом...

Да... Да! Прежде чем претендовать на докторство — нет, даже думать о нем!... — нужно... нужно...

Вот: последовательность. Нужно последовательно изучить все, что оставил нам Ахмад ибн Маджид.

Нельзя строить генеральную концепцию на одной рукописи, даже сверхуникальной. Ужасно, что — это я уже знаю по Феррану — не все, что создал великий мореход, сохранилось до наших дней. Но многое дошло: двадцать два трактата и среди них крупнейший, по-видимому вершина его творчества, любимое дитя — «Книга польз в рассуждении основ и правил морской науки». Исследовав этот материал, мы получим полную характеристику не только предмета, но и автора. ...Полную? А утерянные творения? ...Ученый живет надеждой на будущие находки, особенно если он еще молод, — придет, не может не придти этот яркий, особенный из дней, когда проступят слезы радости в усталых глазах и отойдут вдаль трудности поисков.

...А если, паче чаяния, не придется дожить... Что же должны быть счастливцы и в двадцать первом веке! Но вот интуиция... да, интуиция, неясная, но никуда не уходящая... говорит, что в сохранившейся части своего наследства, лучшего из наследств, оставляемых человеком, Ахмад ибн Маджид — весь, от альфы до омеги, здесь лейтмотив его жизни, тогда как исчезнувшие поэмы, судя по уцелевшим заглавиям, — это каденции или, скорее, вариации на главную тему. ... Самоутешение? Нет, я в самом деле так чувствую. Но интуиция — это еще не точное знание.

... Поле работы на всю жизнь — вот оно простирается передо мной. Хорошо, да, это хорошо, что никогда не приходилось думать над вопросами, кем быть и чем заниматься.

И хорошо то, что рукопись пронесла через время слова не одного ума, а и сердца старого лоцмана. Это обогащает кандидатскую работу, то есть доводит ее до нужной кондиции...

Спустя полгода, на моей защите Игнатий Юлианович, оценив трудности исследования и то, чего удалось добиться, а затем указав на недоработки, заключил свое выступление словами:

— Арабская кафедра Ленинградского университета, рассмотрев в своем заседании представленную работу, признала, что она значительно превосходит обычные требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям.

Я лично полагаю, что ее автор вполне заслужил степень кандидата наук.

...Не больше.

Как и во многих других случаях, академик Крачковский был совершенно прав.

ПУТЬ В ОКЕАН

Вам интересно, читатель? У каждого в памяти хранятся дорогие сердцу переживания, но лишь тот вправе их обнародовать, кто сможет вскрыть в личном богатстве общественную значимость. Для востоковеда такая задача особенно трудна ввиду специфичности предмета его занятий. Неудивительно, что эта книга пишется неспешно и напряженно, медлительно отбираются в нее мысли и слова. Читатель может захлопнуть книгу в любом месте, покинуть вагон на любой станции или даже, благо он движется тихо, сойти на ходу; для повествователя это будет полезным уроком на будущее.

Итак, я продолжаю держать экзамен.

* * *

Когда после нового десятилетнего перерыва я смог вернуться к работе над арабскими мореходными рукописями, Игнатия Юлиановича уже не было в живых. Мне не пришлось быть с ним в его последние дни и вместе с другими, кто знал и чтил отца советской арабистики и советских арабистов, предать его прах земле; моим уделом оказалось лишь, назавтра после возвращения в Ленинград, с горькой болью вглядываться в застывшие черты на медальоне памятника. Стоя у могилы на Литераторских мостках Волкова кладбища, я особенно чувствовал остроту утраты, понесенной нашим обществом, и тяжесть возросшей ответственности за судьбу нашей области науки. Позже, уйдя в работу, я на всех ее стадиях ощущал отсутствие рядом требовательного наставника и отзывчивого человека, оставившего нетускнеющий след во всем моем научном и житейском; но тем строже я проверял себя сам и тем настойчивее прививал себе широкий взгляд на вещи. Скорбь, как и страсть, таит в себе семена мужания.

* * *

Едва, отряхнув пыль дальних дорог, я переступил порог Института востоковедения, как Нина Викторовна... Я должен рассказать о ней, она из тех, о ком написаны или напишутся книги.

Нина Викторовна Пигулевская, член-корреспондент Академии наук, была тонким сириологом и византинистом; такие ее монографии, как «Византия на путях в Индию», «Арабы у границ Византии и Ирана в IV—VI веках», вместе с изящными и содержательными ее этюдами в журнале «Палестинский сборник», которым она руководила, входят в золотой фонд советской востоковедной литературы; лекции доктора Пигулевской в Сорбонне, ее выступления в Риме, Лондоне, Вене достойно поддержали высокий международный престиж нашей научной школы. Эта хрупкая, часто болевшая и в то же время жизнерадостная седая женщина была, однако, не только ученым-классиком высокого ранга, но и человеком чуткого и щедрого сердца. Ее активная натура, жившая общественными заботами института и личными — его сотрудников и просто востоковедов, постоянно искала все новых дел. Нина Викторовна ничего не делала равнодушно; во мне поныне звучит много раз слышанный и неповторимый ее голос, полный то заботливого участия, то уничтожающего сарказма, приглушенный раздумьем или звенящий от вдохновения. Самые недвижные души платили ей если не любовью, то уважением; недавняя смерть ее особенно потрясла всех, кто ее знал.

Память подсказывает слова, обращенные ко мне, когда я только что вернулся в Институт востоковедения, еще не будучи зачисленным в его штат. Это было в «антишамбре» [1]—внутреннем помещении старого великокняжеского дворца на невской набережной, не имевшем окон и освещавшемся тусклой электролампочкой; за «антишамбром» находился директорский кабинет, где я надеялся узнать, работать ли мне в институте или искать свой «талан» в другом месте.

— Послушайте! Вы ведь защищали диссертацию!

Задумавшийся в ожидании приема, я вздрогнул и встал: передо мной была «член-кор.» Пигулевская, с ко-

---

[1] Передняя, прихожая (*франц.*).

торой до этого много лет назад довелось мне встретиться лишь однажды и мимолетно.

— Диссертацию? Да, Нина Викторовна, защищал...

— Где же она?

— А где? Дремлет в моих бумагах...

— Как вам не стыдно! Игнатий Юлианович так хорошо о ней отзывался, а вы держите под спудом!

— Нина Викторовна, все годы после защиты у меня не было возможности готовить издание по арабистике.

— Знаю. Все знаю. Но сейчас-то вы вновь на коне! Так принимайтесь за дело и не откладывайте всего этого ad calendas graecas.[2] Вы меня поняли? Договоримтесь так: вы начинаете готовить свое детище к изданию... Диссертации пишутся не для архива, а для людей, для науки, для чести нашей страны!

— Я всегда это знал, Нина Викторовна.

— Тем лучше. Итак, вы готовите работу к изданию, а я берусь пробить вопрос о печатании в дирекции и написать предисловие. Какой вам нужен срок?

— Я еще не устроен ни по работе, ни в быту. Конечно, заниматься своей рукописью буду ежедневно, возможности для этого должны быть мною же и созданы. Но хлопоты с устройством отнимают по разным линиям немало времени...

— Голубчик мой, — мягко сказала Нина Викторовна и порывисто, обеими руками, сжала мою руку. — Вы знаете?... Я думаю, что этими лоциями вы откроете себе вход в институт, то есть, я хочу сказать, что подготовка их к опубликованию может стать вашей плановой, штатной работой. Что же касается быта, то он постепенно наладится, когда вы будете узаконенным сотрудником. Только не вешайте головы! Главное — жизнь, здоровье, знания и активно работающий мозг — вы сохранили, значит можно и нужно идти вперед. Словом, так: я сейчас иду в дирекцию говорить о вашем опусе.

— Спасибо, Нина Викторовна.

Назавтра меня вызвали к директору — или, как он теперь назывался, заведующему Ленинградским отделением Института востоковедения — академику Орбели. Об этом крупном иранисте и кавказоведе, незаурядном зна-

---

[2] «До греческих календ» (*лат.*)., т. е. «в долгий ящик».

токе восточных литератур и искусств, директоре Эрмитажа, свидетеле на Нюрнбергском процессе я много слышал и в студенческие годы и позже, но лишь сейчас встретился с ним впервые. Длинная волнистая борода придавала ему сходство с ассирийским жрецом; строгие глаза из-под мохнатых бровей смотрели испытующе. Иосиф Абгарович подробно расспросил меня о диссертации и принял на себя заботы редактора книги. Начались напряженные бдения над рукописью, которая согласно визе Президиума Академии наук печаталась «молнией». Принятый в штат, я допоздна сидел за столом в Арабском кабинете, шлифуя перевод и комментарии, правя машинопись, держа первые корректуры. С Иосифом Абгаровичем мы часто ездили в издательство, «вися» над его работниками, но и без этого они вкладывали весь свой большой опыт и теплое доброжелательство в дело продвижения моих страниц на выход. Книга «Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида, арабского лоцмана Васко да Гамы, в уникальной рукописи Института востоковедения АН СССР», светя золотыми буквами по темно-синему переплету, легла на прилавки магазинов через четыре месяца после сдачи издательству авторского текста. Незадолго до этого Египетская Республика национализировала Суэцкий канал, проходящий по ее земле, — важная морская магистраль оказалась в руках независимого арабского государства. Так слились воедино былое и нынешнее; слова посвящения, открывавшего книгу, — «Свободолюбивым арабским народам с пожеланием больших и счастливых плаваний» — имели глубокий смысл.

Советское издание лоций арабского моряка XV века было принято с интересом. Рецензенты в широком круге стран от Кувейта до Бразилии и от Швеции до Танзании оценили сложность и плодотворность проделанной работы и признали приоритет нашей арабистической школы в изучении столь важных документов истории; я был взволнован, когда один из первых откликов появился во французском «Journal Asiatique» (Азиатский журнал), существующем уже полтора столетия: им когда-то руководил первооткрыватель арабских лоций Габриэль Ферран, здесь он помещал свои мастерские, надежно обоснованные этюды, каждый из которых звучал как откровение, и сейчас словно его голос, его оценка доносились до меня. Критик, известный ученый, отдав должное самой книге,

не поскупился на личную похвалу ее автору; а я, прочитав теплые слова парижского коллеги, подумал об Игнатии Юлиановиче Крачковском, о том, как он строго сказал бы в этом случае: «только не надо упиваться сими нектарами», — а сам был бы рад за меня, и тут меня охватила гордость за него, за его школу, и зашевелилась чуть было примолкшая за делами боль от мысли, что он уже никогда ничего не скажет. Вскоре после опубликования «Трех лоций» вышел из печати их португальский перевод, впоследствии к нему добавились два арабских.

Когда я принес Нине Викторовне экземпляр книги с дарственной надписью, она подняла на меня просветленные глаза и дрогнувшим голосом сказала:

— Спасибо, голубчик. Видите, как хорошо все получилось. И не ругайте меня за то, что я сперва было напустилась на вас.

— Вам спасибо. И не мне одному вы помогли. Назвать бы вас..., извините, Нина Викторовна... «умм альмусташрикӣн», как сказали бы арабы, «мать востоковедов»...

— Ну уж, ну уж! Сильно загнули, сильно! Я бы себя назвала...

Задумалась.

— Знаете как? Пожалуй... «служанка востоковедения»... Да, именно: «ха́дима ль-истишра́к». Я служу этой науке... стараюсь, по крайней мере... своими работами. Но также служу и тем, что посильно помогаю младшим товарищам проявиться, каждому в своей области знания, до конца.

Она была доброжелательна, эта хрупкая седая женщина, — и в то же время принципиальна; сердечность счастливо уживалась в ней с твердокаменностью, когда этого требовали интересы науки.

* * *

«Книга польз в рассуждении основ и правил морской науки». Крупнейшее и, по-видимому, главное сочинение Ахмада ибн Маджида. Да, главное. В прочих его трактатах описываются те или иные навигационные маршруты: фарватер, высота звезд по курсу корабля, ветровой режим, признаки близкой суши. Здесь, в «Пользах», двенадцать глав охватывают более широкий круг вопросов:

управление судном и учение о муссонах; лунные станции и величайшие острова мира; роза ветров; побережья мирового океана; знания, требуемые от кормчего, и даже морская этика; а прежде всего излагается история мореходства. Там, в частных лоциях — строгий суховатый язык мастера судовождения, как правило лишенный эмоций. В обширнейшем, почти на двести страниц убористого рукописного текста, сочинении прославленного моряка, наоборот, бесстрастного профессионала часто теснит живой, много переживший и передумавший человек и однообразные описания уступают место игре ярко переливающейся мысли.

«Наука — самец, не отдающий тебе и частицы своей, пока не отдашься ему весь».

Грубовато, но ведь это сказал не кабинетный ученый, а сурово-озорной «морской волк»; приобщение к «непотребной речи» — это часть его платы в казну жизни за возможность зарабатывать средства к существованию тяжелым и опасным трудом на море.

«Знание... подобно оружию в брани, которое нуждается то в луке, то в копье, то в мече, а то и в ноже».

«Науки подобны оружию, которое нуждается то в луке, то в мече, то в копье, то в секире, то в кинжале, а все это не заменит тебе ножа».

Так Ахмад ибн Маджид проповедует разносторонность не только знания самого по себе, но и тех приемов, которыми оно с дальним прицелом или в ближнем бою, замедленным или коротким и точным ударом сражает невежество.

«Кормчий третьего разряда — выше его нет. Он славится неповторимым блистающим указанием и великой сообразительностью, и никакая морская задача для него не тайна. Он слагает своды, которыми пользуется при жизни и коими люди пользуются по его кончине; правдолюб и знаток его благодарят, завистник и спорщик хулят. Завидующие крадут из его сочинений и выставляют себе против него возражение, не будучи в состоянии довести до совершенства то, чем возражают. Такие,

как они, подобны вору, залезающему в карманы людей: когда обернутся, он обращается в бегство, терпит поражение. А язык у невежественных разнуздан. Мужи науки! Когда вы достигли наслаждения, присущего знанию и деянию его посредством, то да не будет вам никогда достаточно повергать в смущение невежд завидующих, не достающих до степеней ваших... Люди завидуют лишь тем, кто их превосходит...».

Он, конечно, сам испытал злоключения таланта, о которых пишет; слишком ярки слова и глубока приникающая к ним печаль, слишком отточен внутренней болью сарказм, чтобы это было не так.

Перед нами — энциклопедия мореходных знаний Востока, вобравшая в себя все то, что было известно арабским капитанам дальнего плавания накануне европейской колонизации. И — книга человеческой души, угасшей много веков тому назад.

Не случайно и не напрасно я выделил мыслью это творение из множества трудов моих предшественников, с которыми довелось познакомиться в период изучения трех последних лоций арабского моряка. Теперь, когда три лоции обнародованы, можно — и давно следовало бы! — взяться за прочтение «Книги польз».

«Не уйти вам от арабистики», — писал мне когда-то Крачковский. Да, Игнатий Юлианович, как и вам.

* * *

Когда ученый приступает к новому исследованию, он должен сказать себе: Рубикон перейден, дороги назад нет. Он должен идти только вперед, шаг за шагом читая неизвестность и продвигаясь к поставленной цели — приумножить практический или взаимопроникающий с ним исторический опыт своих современников и потомков, обогатить материальный и опять-таки связанный с ним духовный мир общества. Прошли те времена, когда изучение давних рукописей могло быть самоцелью, когда подчас и незаурядные ученые не всегда ясно представляли себе, какую роль будут играть результаты их исследований в жизни людей; определения «академичность» в худ-

шем смысле этого слова, «схоластика», «оторванность от жизни» не придуманы, а отражают частную, но реальность в истории науки. Сейчас исследователь, если он им является, а не лишь состоит по штату, ясно сознает ответственность, и далеко не только перед коллегами, за общественную значимость избранной темы и применимость результатов своего труда.

Однако — такова психология творчества — он прежде всего чувствует ответственность перед самим собой за полное осуществление своего замысла, за раскрытие в этом труде всех своих внутренних возможностей, за исчерпывающее самопроявление. И, раз Рубикон перейден, ничто не может остановить его в этом движении: ни тягостные личные переживания — мы все живые люди и, кроме ума, у нас есть сердце, — ни непонимание, подчас встречаемое в ближайшем окружении. Он ведь и был готов ко всему этому и к худшему, когда впервые склонился над листами давно манившей его рукописи и одновременно с начальными строками будущей книги начал писать новую главу истории своей жизни. И он идет вперед, ломая или обходя препятствия. Но лишь уверенность в том, что ближайшее окружение — это еще далеко не все общество, что его труд нужен или понадобится простым людям, не позволяет опуститься его рукам в часы невзгод и дает возможность довести дело до конца. Общественный интерес — великий двигатель индивидуального творчества. Гениальный художник и скромный ученый одинаково творят для мира.

* * *

Не стану касаться подробностей своей многолетней работы над рукописью «Книги польз» — одни из них уже описаны за пределами этих воспоминаний и в них, а о других не сказать словом: внутренняя работа ума — очень деликатная вещь, достаточно неосторожного движения речи, чтобы гармония ее ткани нарушилась и предстала перед читателем не совсем такой, какой она была. Помню, один корреспондент настойчиво выспрашивал:

— Скажите, ну а как, вот как вы расшифровали эту абракадабру географических названий, давно вымерших, никем не употребляемых? Каковы ваши методы, приведите пример...

Я попробовал отшутиться:

— Сам не знаю как. Должно быть, видение такое было. Или — как это сказать? — озарение...

Он не понял шутки и сухо сказал:

— Мы с вами не дети и знаем, что чудес не бывает. При чем тут мистика? Мне надо написать нечто конкретное...

Я с тоской посмотрел на него. Голубчик, я же действительно... Ну, как об этом сказать, чтобы вы не сердились? Ни одна ловкая фраза не приходила в голову, а собеседник ждал. Это было мучительно, и я довольно коряво привел какой-то неинтересный случай отождествления, предельно упростив ход мысли. Человек, чье вечное перо уже летало по блокноту, был доволен.

— Вот видите, можно же рассказать. Все понял. Спасибо.

Когда он ушел, я подумал:

— Конечно, тут дело не в том, что «не знаю как». А дело в том, что уже не помню, да, просто не могу припомнить, каким путем каждый раз мне удавалось доходить до истины. Никаких методов превращения неизвестного в известное я специально не изобретал, и вряд ли это возможно. Понимаете, дорогой корреспондент, в творческом процессе есть свои иррациональности. Ну вот, смотрите, перед нами непонятное географическое название, встретившееся в средневековой рукописи. Сперва кажется: а чего там, пересмотрю словари, да, пожалуй, одного Якута хватит, чтобы найти искомое. Шеститомный словарь восточных географических имен, составленный в тринадцатом веке подвижником науки Шихабадди́ном Яку́том, то есть «Яхонтом», выходцем из рабов, и опубликованный по его рукописи другим подвижником науки, Вюстенфельдом, уже в девятнадцатом веке — это ведь одна из настольных книг арабиста, в ней можно отыскать все нужное... Ан не тут-то было! Всезнающий Якут молчит. В чем дело? Да просто в том, что в поле его зрения, внимания, мысли было одно лишь сухопутье, громадное сухопутье между западным и восточным океанами, а моря он не касался, не знал его и не стремился знать. Вот тебе и достославный Якут, к спасительному словарю которого нам еще с университетских пеленок прививали великое уважение! Что ж, иногда среди арабских текстов попада-

ется enfant terrible,[3] для понимания которого нехватает обычных пособий...

Словарь Якута для расшифровки мореходных текстов не годится. Хорошо. А многотомный Лэн, вобравший в себя богатство арабских национальных словарей, а старый почтенный Фрейтаг, наш Гиргас, а словарь Бэло, Казимирского, Дози? Последний иногда — лишь иногда! — помогает: ведь это «Supplément aux dictionnaires...» — «Дополнение к словарям», прочие в целом бесполезны. Что же нам делать? Обратиться к международному изданию «Энциклопедия ислама», составленному лучшими специалистами разных стран. Тщетно, здесь тоже наши поиски упираются в глухую стену: арабское мореплавание — все еще необычный предмет в науке. Напряжем нашу память и мысль, обрушим на непонятное название какого-то уголка морского мира, затерявшееся в просторах рукописи, шквал знаний и рассуждений. Напрасно, мы не смогли понять, что это такое.

И вдруг... Уже вы в досаде отступились от непонятного слова в тексте и стали читать рукопись дальше; возбужденная мысль возвращается к злополучному месту, но вы, сделавши все возможное, уже готовы признать свое поражение и, кусая губы, написать: «ближайшим образом не идентифицируется». Постепенно горечь растворяется в новых ощущениях, слабеет: время — лучший целитель. И вдруг... Да ведь это вам только показалось, что горечь стала уходить; она лишь уползла под спуд свежих переживаний, но не покинула вас — ведь ущемлена ваша пытливость, уязвлено самолюбие. Будь это не так, какой вы исследователь? Глаза прояснились, а в сердце живет смутная тоска; ваши чувства обострены, и вы, часто незаметно для себя, приглядываетесь и прислушиваетесь к тому, мимо чего другие проходят безучастно, спеша к тому, что их больше интересует. И внезапно какое-то слово, недомолвка, глухой намек — из некоей ли столетней давности статьи в случайно попавшем к вам академическом журнале, или из малоинтересного доклада в ученом заседании — заставили вас вздрогнуть и застыть и властно вернули вашу мысль к давнему, столько мук причинившему названию какого-то места в океане, будь оно не-

---

[3] Ужасный (т. е. необычный) ребенок, сорванец (*франц.*).

ладно, и вы, еще ничего не осязая сознанием, уже чувствуете: разгадка. Да, вот она, вот... Одно умозаключение переливается в другое, факт сцепляется с фактом, стройная цепь, как дорога, приводит к цели. Вот оно что, оказывается, ну кто бы мог подумать... «И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь...». Все воскресает и весь воскресаешь в эти звездные часы творчества.

* * *

Итак, все-таки озарение; в шутке, которой я пытался «отбояриться» от трудного вопроса корреспондента, была доля правды.

Сполохи озарений и постоянная напряженность — вот картина работы исследователя рукописи. Напряженность — это состояние внутренней сосредоточенности, когда все силы и возможности собраны воедино, чтобы достичь нужной цели. Оно не может продолжаться слишком долго, ибо людской организм, которому ничто человеческое не чуждо, физиологически и психически нуждается в нормальном чередовании возбуждения и торможения; однако оно должно иметь способность продолжаться достаточно долго, когда это нужно для того, чтобы исследователь и через его труд общество взошли на новую ступень своего развития. Последовательная целеустремленность сминает противоборствующие внешние обстоятельства и в то же время пользуется их помощью, ибо они сами оттачивают острие воли, обращенное против них. Игра освобожденной энергии внутренних сил составляет поэзию труда исследователя. Но сколько в этом труде прозы! Тут я автоматически пользуюсь тривиальным разделением, в обоснованность которого не верю. Почему говорят: «Фу, какая проза!». Почему «проза» — это нечто серое, скучное, тяжкое, от которого хочется поскорее избавиться? А «Чуден Днепр...»? А «Как хороши, как свежи были розы...», — кстати, вышедшее из-под того же пера, что и «Утро туманное, утро седое»? Отвечают: «Это благоуханная проза». Позвольте, проза, рожденная художником, не нуждается в уточняющих определениях, она может быть лишь благоуханной, но никак не зловонной. Итак, лучше сказать: сколько выпадает на долю исследователя черновой работы! Прежде чем триумфатор, он — чернорабочий в белом воротничке. Не-

которые стремятся переложить эту утомительную функцию на плечи других, самые инертные из которых могут состариться за столом научно-технического сотрудника, вывозя из подземных кухонь к свету славы чужие работы. Напрасно стремятся: исследователь должен быть единственным работником своего дела, от альфы до омеги он должен свершить его сам; лишь тогда он будет в нем хозяином.

И я на ряд лет отрешился от прогулок в задумчивой тишине парка в Павловске, где тогда жил, от любимой музыки, от dolce far niente[4] отпусков и выходных; отрешился, чтобы слово за словом сверить парижский и дамасский экземпляры моей рукописи, каждый из которых имел почти двести страниц текста; чтобы, читая и перечитывая строки и строки ради заполнения одной карточки, составить полный указатель географических и астрономических названий, авторов, упоминаемых арабским лоцманом, и их книг; чтобы неспешно переписать арабский текст и выправить русскую машинопись моего опуса... Текли недели, месяцы, годы. Страница за страницей ложились в папку полной готовности. Светлею, вспоминая об этих трудных днях. О напряженности и озарениях.

* * *

И вот он, долгожданный плод.

«Арабы и море. Предыстория деятельности Ахмада ибн Маджида, лоцмана Васко да Гамы. Цикл исследований».

Подлинный, 1490 года, арабский текст «Книги польз в рассуждении основ и правил морской науки», выверенный по двум рукописям и каллиграфически — насколько смог — переписанный; здесь под 176 страницами — около полутора тысяч моих примечаний. Русский перевод, пятый вариант; четыре прежних — «опять не то, все не то, вроде бы все правильно, а чего-то нехватает», пятый — «ну, вот пожалуй так... да, так. Пока что я доволен...». Комментарии к переводу: две тысячи семьсот объяснений, разгадок, предположений. Указатели к арабским и русским частям исследования: морское дело, география,

---

[4] Сладкое ничегонеделание (*итал.*).

астрономия, авторы, произведения, разное. Наконец, очерк теории и практики арабского мореплавания, история вопроса. Пять томов готовой работы лежат передо мной.

Нет, это еще не плод, а ствол. Основание. Для чего? Для последующего осмысления, для цепи логических умозаключений.

...Действительно, если арабская мореходная практика средних веков нуждалась не только в справочниках по региональному плаванию, но и в произведениях универсального типа, таких как «Книга польз» Ахмада ибн Маджида, — а ведь были еще и «Опора» Сулеймана Махри и энциклопедия Челеби в следующем веке... и не только нуждалась, но и могла их создавать... не следует ли отсюда, что уровень этой практики был значительно выше, чем думали до сих пор?

Если уровень арабской мореходной практики был высок, не следует ли отсюда, что она опиралась на давнюю традицию?

Если арабская мореходная практика опиралась на давнюю традицию, не следует ли отсюда, что она была не случайным... да, именно, не случайным, а систематическим занятием в арабском обществе?

Если арабская мореходная практика была систематическим занятием, не следует ли отсюда, что единичные упоминания старых авторов об арабских морских походах и немногие сохранившиеся произведения на морскую тему, необъяснимые для традиционной науки, представляют разрозненные звенья единого целого?

Если арабская мореходная практика была единым целым высокого уровня, не следует ли отсюда объяснение того уникального исторического факта, что она покорила себе весь Индийский океан — от арабизованной Восточной Африки до арабизованной Индонезии, от факторий на западном побережье Индии до факторий на восточном побережье Китая?

Если арабская мореходная практика покорила Индийский океан, не следует ли отсюда, что она была сокрушена именно португальским проникновением на Восток в XVI веке, когда арабские лоции, навигационные карты и термины становятся достоянием португальской географии и картографии, данные которых, таким образом, приобретают значение важных источников для востоковедных исследований?

Все это не приводит ли к выводу, что наши прежние знания об арабах были недостаточны?

...И вот лишь теперь мы подошли к плоду. 21 марта 1968 года в Москве, в актовом зале Института востоковедения Академии наук Союза, прозвучали слова:

«Давнее и систематическое арабское мореплавание, освоившее практически все районы Средиземного моря и Индийского океана с частью Тихого, является бесспорным историческим фактом, требующим переоценки роли арабов в истории мировой культуры».

Концепция арабского мореплавания была оценена высшей ученой степенью через тридцать лет после того, как безвестный студент впервые склонился над забытой рукописью ленинградского академического фонда.

* * *

Едва я вернулся из Москвы в Ленинград, старый друг взял мои руки в свои и тревожно заглянул в глаза.

— Ну... как?

— Нормально.

— Поздравляю! Я верил в эту работу.

— Не ведомо, когда напечатают эти мои пять томов, но, во всяком случае, они уже в издательстве. А сейчас надо садиться за Ма́хри...

— Это кто?

— Сулейман аль-Махри, оманский лоцман шестнадцатого века. Давно к нему подбираюсь. Понимаешь, Оман, все эти султанаты, английские протектораты — золотое дно истории арабского судоходства. Ведь еще при вавилонских царях в этом углу знойного полуострова, открытом для всех морских ветров, в этой океанской Аравии...

— «Океанская Аравия»! Слово-то какое, дух захватывает...

— Так там, понимаешь, еще тогда — верфи, гавани, регулярные рейсы в Индию и Эфиопию! Кодексы морской чести! А в средние века, при мусульманах, все эти пункты, не сходящие со страниц арабских лоций, — Маскат, Сուха́р, Зуфа́р, Шихр, Фа́ртак, острова Маси́ра и Ку́рья-Му́рья... Каждый из них — жемчужина для арабиста, но как мало мы о них знаем! И неправда, что уже

не найти никаких следов, как иногда пишут, неверно это! Закон сохранения материи действует всюду, надо только уметь его вскрыть, когда он не лежит на поверхности. Походить бы по этому Оману из конца в конец, и столько бы отыскалось всякого! Рукописи на дне дедовских сундуков в каких-нибудь затерянных селениях; слова в этом дальнем, окраинном арабском диалекте, ведь многие из них, конечно, пришли из морского профессионального языка, пусть как-то переиначились, но если осторожно снять верхний слой... Надписи на камнях в стене чьего-то дома — сколько древних стел потомки употребили как строительный материал! Пережитки в архитектуре, обрядах, да хоть в чем — даже намек, это ведь еще интереснее — по намеку докапываться до факта... Так Сулейман — из этих мест.

— Что же он оставил?

— Пять сочинений: «Ожерелье из солнц...». Это про солнечный и лунный календари. «Дар мужам» — основы мореходного искусства. Толкование к этому «Дару», большое, на шестидесяти с лишним страницах, а у «Дара» всего двенадцать; неудивительно, ведь рос опыт, мужала мысль, вот автор и вернулся к своему, вероятно, раннему сочинению, чтобы усовершенствовать его новыми примерами и положениями, оно, естественно, расширилось, и смотри насколько: в пять с половиной раз! Не терял человек время, дорожил скоротечным часом жизни, не то что... Так слушай. Толкование, потом — «Превосходный путь в науке о многоводном море». Название-то каково... Арабы любили, чтобы в заглавии была какая-нибудь «цветущая ветвь Андалусии» или «утренняя заря», не «родода́ктилос Эос»,[5] конечно, а простая утренняя заря, дарующая живительную прохладу... Или же вот такой «превосходный путь»... И чтобы шла рифма, как здесь: «Китаб аль-минхадж аль-фа́хир фи ыльм аль-бахр аз-за́хир». Наконец — «Опора для точного знания морских наук». Вот это мне кажется венцом в творчестве Сулеймана: очень разнообразное содержание на почти ста страницах, широчайший охват материала, снова энциклопедия, вроде «Книги польз» лоцмана Васко да Гамы...

[5] «Розоперстая Эос» (*греч.*) — богиня утренней зари в древнегреческой мифологии; в древнеримской мифологии ей соответствует Аврора.

Друг мягко коснулся моего плеча.

— Послушай, дело прошлое, скажи: неужели ты всегда работал над этой «Книгой польз» с одинаковым вдохновением, с одной и той же радостью?

— Будто бы! Человек — всегда человек, бывают у него на душе и свет и темень. Тем более, что я ведь не давал себе спуску, все гнал и гнал, меня еще Игнатий Юлианович за это поругивал; так иной раз до того устанешь, что начинаешь всердцах клясть и автора и его рукопись, особенно если дойдешь до какого-то малопонятного места, где и язык тебе кажется вялым. Подумаешь: а, провались это все! .. Но вот удивительно, что в такую минуту не встаешь из-за стола, а руки как-то сами снова и снова начинают перелистывать словарь, и глаза уже в нем ищут и ищут, а память раскрывается как-то шире и дарит мыслям тó из прошлого опыта, что нужно, чтобы они засветились, ожили и тронулись в дальнейший путь. Постепенно забываешься, что ли, втягиваешься в привычное русло рассуждений, догадок, решений — и вот уже и пламенеешь и рвешься вперед, а сам скрупулезно, до мелочей, проверяешь свое слово в каждой строке исследования. Опять все хорошо, и на ходу скажешь в пространство: дорогой Ахмад ибн Маджид, прости мне ту вспышку, но ведь я действительно устал, а от тебя не оторваться. И вспомнишь эти замечательные слова в древнерусском переводе книги византийского географа Косьмы Индикоплевста: «Старались люди собирать золото, другие насилием овладеть землею или жемчугом и всяким богатством; а господин этой книги мудро искал не жемчуга и дорогого бисера, и не золота, а достойного описания мира, и собрал богатство не исчезающее. Тлеет все на земле; остается одно слово». Слово... Оно не самоцель, вот какая мысль обновляет силы. Оно — памятник прошлого опыта, который нужно извлечь из него для нашего ныне, оно...

Я улыбнулся.

— ... «Извольте мне простить невольный прозаизм»: слова — это консервы опыта. Нет филологии без истории — и наоборот, конечно, нет истории без филологии. Арабисту не уйти ни от слова, ни от факта, ведь они — это его вторая, нет, по существу, первая жизнь. Арабистика — что любовь: можно разругаться с человеком, а все равно возвращаешься к нему, потому что любишь.

— Отдохнуть бы тебе после этой «Книги польз», — тихо заметил мой собеседник. — Работа сделана, признана, мало этого? Ма́хри должен подождать, истомился ты. . .

— Ученому, дружок, его дело не дает отдыха. Только передышку.

ОТКРОВЕНИЯ СТАРЫХ ТЕКСТОВ

Концепция арабского мореплавания позволяет впервые до конца вскрыть содержание средневековой арабской культуры и выяснить ее истинную роль в истории человечества. Такая функция не исчерпывает, однако, значения проведенных исследований: помимо генерального аспекта, существует ряд более частных направлений, где изучение трудов Ахмада ибн Маджида, Сулеймана аль-Махри и Сиди Али Челеби в системе связанной с ними литературы дало возможность по-новому рассмотреть ряд уже, казалось бы, объясненных фактов и предложить другое их понимание и другую оценку. К таким фактам относятся, например: «одиссея» Синдбада из «Тысячи и одной ночи»; география грузинской поэмы «Витязь в тигровой шкуре»; обозначение «Даба́вкара» для индийского судовладельца в «Книге польз» Ахмада ибн Маджида. Посмотрим, что́ теперь можно сказать по поводу этого старого материала.

1. Низвержение Синдбада

В 1921—1926 гг. французский ориенталист Бернар Карра де Во опубликовал свой пятитомный труд «Мыслители ислама». В этом названии есть определенная доля сомнительности: мысль остается собой, когда она последовательна и, значит, свободна, но разве религия и свободомыслие совместимы? Зрелый мыслитель не может исходить из догмы; правоверного мусульманина трудно представить себе хотя бы одним из прообразов роденовского изваяния. Впрочем, это уже другая материя. Сейчас мы заметили, что среди множества арабских ученых и путешественников поры Багдадского халифата Карра де Во помещает одного из ярчайших героев «Тысячи и одной ночи» — негоцианта Синдбада, и нас интересует, как

освещена эта фигура, — ведь устами маститого арабиста говорит вся традиционная наука. «Синдбад, постаревший и разбогатевший, — читаем в „Мыслителях“, — в Багдаде, у себя дома, в обществе многочисленных гостей предается веселью. Под его окном бедняк бормочет: „Всемогущий творец вселенной... обрати внимание на разницу между мной и Синдбадом. Я ежедневно страдаю от тысячи бед, мне очень трудно прокормить себя и мою семью скверным ячменным хлебом, в то время как счастливый Синдбад щедро тратит несметные богатства и ведет жизнь, полную наслаждений. Что он сделал, чтобы получить от тебя такую приятную судьбу? Что сделал я, чтобы заслужить такую суровую жизнь?“. Синдбад велел позвать этого человека и сказал ему: „Ты думаешь, что я без труда и мучений получил всю ту роскошь и отдых, которыми наслаждаюсь? Ошибаешься! Я достиг этой счастливой жизни, лишь испытав в течение многих лет все физические и умственные напряжения, какие только может представить себе воображение“. Затем он рассказал ему и всему обществу о своих странствиях».

У буржуазного ученого не приходится, конечно, искать критику синдбадовой тирады, создающей превратное представление об источниках обогащения в антагонистическом обществе. Но не только в отсутствии такой критики проступает классовая ограниченность французского исследователя — она выявляется и в общей трактовке образа Синдбада. Для автора «Мыслителей ислама» Синдбад — это бесплотное внеисторическое существо в привлекательных одеждах любознательного путешественника-бессребренника, чуждого материальным интересам.

«Что в истории Синдбада производит полностью правдивое впечатление, это его психология, — продолжает Карра де Во. — Синдбад — путешественник, любящий преодолевать затруднения, смакующий авантюризм самого путешествия настолько, что даже прибыль для него несущественна. В молодости он веселился и растратил часть отцовского наследства; его охватил стыд; он задумался над тем, что богатства приобретаются лишь трудом и что нет ничего более ужасного, чем нищая старость. „Большим напряжением достигаются почести. Кто хочет возвыситься, должен не спать ночей. Бросается в море тот, кто хочет ловить жемчуг, и жемчуг несет ему подарки и высокое положение. Кто хочет возвыситься без

труда, теряет свою жизнь в ожидании невозможного". Эта философия усилий, такая противоположная обычному фатализму восточных народов, — философия Синдбада и мореплавателей, типом которых он является. Синдбад рискует и своим состоянием, и своей жизнью, он продает все свое имущество, покупает товары и в компании нескольких купцов отплывает из Басры. Басра — его гавань. Это там он всегда грузится, не на собственные корабли, а на большие суда, готовые поднять паруса, на суда, где уже есть несколько других купцов. Они идут от берега к берегу, от острова к острову, покупая и продавая всюду. Затем начинаются страшные бедствия, из которых он в конце концов счастливо выпутывается. Возвратясь в Багдад, он проводит некоторое время отдыхая и наслаждаясь жизнью, но тоска по странствиям, тоска по морю охватывает его вновь, он не может сопротивляться этому зову и опять отплывает...».

Какая романтика! Бескорыстный и бесстрашный Синдбад, снедаемый благородной жаждой познания, семь раз в течение короткой жизни лишает себя привычных удобств и отважно пускается в долгие и утомительные путешествия на край света. Он, видите ли, «любит преодолевать затруднения», он «смакует авантюризм самого путешествия» в такой мере, что торговая нажива для него «несущественна», а посему пуще всего на свете Синдбада привлекают опасные приключения в неведомых морях, где он, не задумываясь, многократно ставит на карту свою жизнь. И все было бы хорошо, так бы и лечь Синдбаду в обитую розовым шелком экзотики бонбоньерку идеальных художественных образов. Но беда в том, что он сам протестует против этого.

В самом деле, обратимся к страницам синдбадова цикла «Тысячи и одной ночи».[1]

Отец героя, богатый и знатный багдадский купец, оставил после своей смерти «деньги, земли и деревни». Синдбад промотал отцовское наследство, затем, увидев

---

[1] Пользуюсь в основном изданием: «Книга Тысячи и одной ночи», пер. и коммент. М. А. Салье, под ред. акад. И. Ю. Крачковского. Т. 5. М., 1933, с. 370—490 (далее страницы этого издания указаны в тексте в скобках).

себя па краю нищеты, ужаснулся и решил поправить свои дела заморской торговлей. Арабским купцам, вывозившим из других стран ценные товары — золото, шелк, пряности, слоновую кость и рабов, — эта торговля приносила большие выгоды, и, судя по размаху морских путешествий при Аббасидах, многие жители Багдада и Басры, подобно Синдбаду, пускались на кораблях в рискованную охоту за наживой. Море таило разнообразные опасности, хрупкие суда при недостаточно искусном управлении становились игрушкой стихий, многие купцы погибали при кораблекрушениях или от голода, жажды, тропических болезней. Уцелевшие любой ценой старались не только восполнить свои расходы по путешествию, но и получить прибыль.

Удача разжигала алчность, стремление к наживе отодвигало законы морали на задний план. Чистота помыслов и взаимоотношений мешала обогащаться за счет других; ложь, вероломство, предательство и прямое насильственное устранение конкурента приближали к осуществлению поставленной цели. Персонаж одного из рассказов в сборнике X века «Чудеса Индии» Бузурга ибн Шахрияра (рассказ XXXII) купец-судовладелец Исмаилвайхи хладнокровно рассчитывает, за сколько можно будет продать на оманском рынке царя Софалы зинджей и свиту, пришедших на его корабль проститься и пожелать счастливого плавания. «Когда они взошли на борт, я подумал: „Этот царь может стоить на рынке в Омане тридцать динаров, а семь его слуг — сто шестьдесят. За их одежду можно будет взять двадцать динаров, итого мы получим за них по меньшей мере три тысячи дирхемов, не терпя при этом никакого убытка“». Гости, посетившие арабского купца на его корабле, незадолго до этого спасли ему жизнь в стране людоедов и дали возможность выгодно торговать. Однако когда купец решает, что сможет выгодно продать своих доброжелателей на невольничьем рынке, то приказывает поднять паруса и увозит пленников в рабство.

Накопление богатства было делом почти всей жизни. Сначала купец нанимал место на чужом судне, где оказывался среди многих ему подобных. Постепенно обогащаясь при помощи любых средств, он приобретал собственный корабль, число последних затем умножалось, и торговля уже поручалась доверенным лицам. Остаток

своих дней удачливые негоцианты проводили в роскошных дворцах, окруженные пышностью и почетом. Многие из них, даже достигнув значительного богатства, продолжали мучиться неутолимой жаждой наживы и, наконец, погибали в океанской пучине вместе со всеми своими богатствами. В XIII веке знаменитый Саади сравнивал служение царям именно с плаванием по морю. То и другое «и добычу дает всечасно, и опасно; или добудешь великий клад, или жизни не будешь рад». Отсюда мореплаватель, как и царедворец, должен быть бесстрашным. Иначе:

Коль ты страшишься боли, почему же
Ты сунул палец в нору скорпиона?

Итак, Синдбад решил поправить свои дела заморской торговлей. Уже в преддверии его эпопеи стремление к обогащению и выбранное для этого средство раскрывают в нем не бескорыстного путешественника и не романтического искателя приключений, каким рисует его Карра де Во, а разорившегося купчика, преследующего весьма прозаическую цель — любыми путями сколотить капитал, дающий власть над людьми и вещами. Далекие морские рейсы опасны. Многие из отплывших в чужие страны не вернулись. Но другого пути к обогащению не видно, и душа Синдбада «согласилась на путешествие по морю». Из Багдада — места постоянного жительства — он приезжает в Басру, садится на океанский корабль, и с этих пор начинаются его удивительные приключения.

Для тех, кто ищет в рассказах Синдбада лишь занимательность, эти приключения представляют единственный источник для оценки личности самого героя. Рассматриваемый вне эпохи и общественной среды, исключительно на фоне своих похождений, Синдбад полностью отвечает характеристике, данной ему Бернаром Карра де Во. Научную мысль, наоборот, интересуют прежде всего обстоятельства, которые сделали Синдбада мореплавателем, и результаты его деятельности в море. Поэтому она обращается к зачинам и концовкам повествований, и здесь в отличие от разнообразного оформления приключений обнаруживается поразительная стереотипность обрамления во всех семи рассказах, свидетельствующая не о скудости авторского воображения, а о том, что крайние элементы рассказа, отражающие истинные мотивы путе-

шествий Синдбада, исходят из однообразной основы: стремления к прибыли.

Каковы подлинные причины путешествий Синдбада?

Причина первого путешествия: «Пришло мне на мысль отправиться в чужие страны... И тогда я решился и накупил себе товаров и вещей, и всяких принадлежностей, и кое-что из того, что было нужно для путешествия, и душа моя согласилась на путешествие по морю» (377).

Второго: «Захотелось моей душе поторговать... и заработать на что жить» (391).

Третьего: «Захотелось моей душе попутешествовать и прогуляться, и стосковалась она по торговле, наживе и прибыли» (405).

Четвертого: «Захотелось мне... продавать и наживать деньги» (424).

Пятого: «Вернувшись из четвертого путешествия, я... забыл обо всем, что испытал, что со мной случилось и что я вытерпел: так сильно я радовался наживе, прибыли и доходу» (445).

Шестого: «Вдруг прошла мимо меня толпа купцов, на которых были видны следы путешествия... и захотелось моей душе попутешествовать и поторговать» (461).

Седьмого: «После шестого путешествия я... провел... некоторое время, продолжая радоваться и веселиться непрестанно, ночью и днем: ведь мне досталась большая нажива и великая прибыль. И захотелось моей душе... свести дружбу с купцами» (475).

Посмотрим, как начинается каждое из путешествий.

Первое: «Мы ехали морем дни и ночи и проходили мимо одного острова за другим, переезжая из моря в море

и от суши к суше, и везде, где мы ни проходили, мы продавали и покупали и выменивали товары» (377).

Второе: «Мы переезжали из моря в море и от острова к острову, и во всяком месте, к которому мы приставали, мы встречались с купцами, вельможами царства, продавцами и покупщиками и продавали и покупали и выменивали товары» (392).

Третье: «Ехали мы из моря в море, и от острова к острову, и из города в город, и в каждом месте, где мы проезжали, мы гуляли и продавали и покупали» (406).

Четвертое: «Ехали мы... дни и ночи, переезжая от острова к острову и из моря в море» (425).

Пятое: «Мы ехали с одного острова на другой и из одного моря в другое... и выходили на сушу и продавали и покупали» (446).

Шестое: «Мы путешествовали из места в место и из города в город... и продавали и покупали» (462).

В зачине седьмого путешествия распространенное описание рейса до начала приключений заменено общей фразой: «Ветер был для нас хорош, пока мы не прибыли в город, называемый город Китай, и испытывали мы крайнюю радость и веселье и беседовали друг с другом о делах путешествия и торговли» (476).

Основные элементы стереотипных формул начал повторяются и в заключительных частях рассказов:

I. «Я продал мои тюки и те товары, которые были со мной, и получил большую прибыль... И потом я купил себе слуг, прислужников, невольников, рабынь и рабов, и оказалось их у меня множество, и накупил домов, земель и поместий, больше, чем было у меня прежде» (389—390).

II. «Я... переходил из долины в долину и из города в город, и мы продавали и покупали» (403).

III. «Мы продавали и покупали на островах, пока не достигли стран Синда, и там мы тоже продали и купили» (421).

IV. «Мы ехали от острова к острову и из моря в море» (443).

V. «Мы ехали от острова к острову и из моря в море, и на всяком острове, где мы приставали, я продавал орехи и выменивал их, и аллах дал мне взамен больше, чем то, что у меня было и пропало» (458).

VI. «Мы... ехали из моря в море и от острова к острову» (473).

VII. «Мы ехали по морю от острова к острову, переезжая из моря в море» (489).

«Знаешь ли ты ремесло, которым ты бы занялся?» — спрашивают у Синдбада. «Нет, — отвечает он. — У меня нет ремесла, и я не умею ничего делать. Я только купец, обладатель денег и богатства» (455). Предприимчивый, он трижды (411, 466, 481) сооружает лодки ради своего спасения. Но эта же цель позволяет ему из-за угла убить женщину и завладеть предназначавшейся для нее пищей (437). Поступками Синдбада руководят жадность, которую он признает сам (478), корыстолюбие и стяжательство. Именно они не раз действительно заставляют его рисковать жизнью. Гонимый жаждой наживы, он, не задумываясь, идет на риск. Но, оказавшись в критическом положении, часто теряет самообладание, и тогда от «философии усилий», навязываемой ему Бернаром Карра де Во, не остается и следа (393, 408, 415, 455, 465, 478, 487).

Таков Синдбад, освобожденный от экзотической мишуры и оцененный на основании его же собственных слов. В литературном персонаже из «Тысячи и одной ночи» следует видеть собирательный тип арабского купца-негоцианта, основного деятеля морской торговли. Детализация образа, вобравшего в себя реальные черты многих представителей этой социальной категории, лишний раз свидетельствует о развитости коммерческого судоходства в те далекие времена; нагромождение же фантастических построений говорит о том, что многие купцы, как правило, не знали моря и боялись его. Вследствие своего невежества и желая оправдать этот страх, они населяли и наде-

ляли океанские просторы сверхъестественными существами и явлениями. Определение «мореплаватель» применимо к каждому из них не больше, чем к пассажиру современного судна. Термин «аль-бахри» — «мореход» арабского текста, связываемый с Синдбадом, служит лишь для того, чтобы отличать последнего от одноименного «сухопутного» персонажа — багдадского носильщика, которому его «морской» тезка самодовольно рассказывает о своих похождениях.

«Философия усилий», теоретическое обоснование активной практической деятельности наперекор противоборствующим внешним обстоятельствам, не могла родиться в среде купцов и быть им органически присущей, так как это не вызывалось материальной необходимостью. В самом деле, купцу нужно было лишь уметь управлять последовательным ходом операций — организовать доставку товара в Басру, нанять подходящее судно, присмотреть за погрузкой своей клади на борт, вести мелкие сделки в пути, проследить за выгрузкой товара в пункте назначения, выгодно его продать, затем выгодно купить местные изделия и повторить все операции в обратном порядке. Эта веками сложившаяся последовательность операций не требовала никакой активной борьбы со стихиями, никакого особого проявления волевых качеств; чтобы стать хозяином положения, достаточно было обладать обычными качествами купца — изворотливостью ума, эгоистичным практицизмом и в известной степени чувством меры. Купец должен был знать рынок, уметь определить настоящую цену любого товара, усвоить неписаные законы получения наибольшей прибыли. Конечно, конкурентная борьба требовала напряжения ума, были и другие препятствия, но их преодоление не ставило купца выше материального или нравственного уровня его эпохи. Лишь отклонение от обычной нормы, коллизии, подобные описанным в «Синдбаде», заставляли купца проявлять волевые качества в доступной ему степени, например из случайных обломков и без инструмента строить лодки (411, 466, 481) или же предпочитать голод сытной, но одурманивающей пище (426—427).

Тем не менее если «философия усилий» имела обширную сферу применения в арабской действительности, то эта сфера принадлежит не купцам, а морякам-профессионалам.

Для рабов категории «бахария» корабельная служба была принудительной, «вольным» матросам приходилось наниматься на корабли ради пропитания. И у тех и у других эти обстоятельства не могли вызывать особой любви к морской профессии, однако надежда обратить на себя внимание своими знаниями, выдвинуться из общей массы, а со временем скопить капитал и завести собственное дело заставляла наиболее целеустремленные натуры повышать свою квалификацию. Несмотря на тяжелый труд под бдительным оком капитана или боцмана и разграничение функций, в обстановке социального гнета, иногда усиленного и национальным, отдельные матросы проявляли поистине волевые качества для всестороннего овладения специальными знаниями. В итоге длительного единоборства с силами стихии и превратностями судьбы из их среды вышло немало опытных рулевых, кормчих, лоцманов, и в этом отношении далеко не единичны весьма показательные примеры вольноотпущенников Йазамана, водившего арабский флот против Византии, или другого флотоводца — Лави, упоминаемого у Масуди, в котором, быть может, надо видеть знаменитого Льва Триполитаника.

Воспитывая волевые качества в процессе овладения сложной навигационной наукой, моряк, ставши лоцманом и капитаном судна, выявлял их в преодолении разнообразных, часто неожиданных препятствий, встречавшихся на линии маршрута. Далеко не на все вопросы, которые ставила перед ним изменчивая действительность моря, он находил готовый ответ в лоциях. Очень часто правильное решение ему подсказывал собственный практический опыт. Недаром в наставлении Ахмада ибн Маджида молодым морякам, изложенном в специальной главе «Книги польз», говорится:

«Знай, ученик, что основы мореходства многочисленны. Пойми их. Первоначальные — знание лунных станций, румбов, маршрутов, расстояний, верхних пунктов Полярной звезды, техники астрономических измерений, признаков близости суши, сроков вступления Солнца и Луны в знаки Зодиака, муссонов и случайных ветров, корабельных приборов и того, в чем может оказаться нужда, того, что вредит кораблю, что для него полезно, что стесняет при плавании. Нужно, чтобы ты знал места восхода, сроки равноденствий, способ и порядок астрономического изме-

рения, места восхода и заката звезд, их долготу и широту, их удаленность от экватора и полюса, совершаемый ими путь. Это должен знать человек, если он является опытным водителем кораблей. Нужно, чтобы ты знал все побережья, способы причаливания к ним и их признаки, как-то: строение ила на морском дне около них, травы на водной поверхности, морские змеи, рыбы, скалы с гнездами зимородка,[2] ветры, перемена цвета воды, приливы и отливы моря во всех направлениях. Лоцман должен совершенствовать весь корабельный инструмент, заботиться об укреплении судна, его оснастки и экипажа; не перегружать его сверх меры, не всходить на корабль, если тот ему не подчиняется, на корабль, не подготовленный к плаванию, и при неудобном муссоне. Он остерегается опасностей, могущих исходить от приборов, команды и другого. Водителю кораблей следует отличать терпеливость от медлительности и проводить различие между суетливостью и подвижностью. Ему надлежит быть знающим, сведущим в разных вещах, решительным и строгим, мягким в речи, справедливым, не притеснять одного ради другого. Он соблюдает покорность своему господину и боится всевышнего аллаха; не гневается на купцов без права на это, а лишь за дело, ставшее предметом толков, или когда нужно поступить согласно обычаю. Ему должно быть крайне выносливым и энергичным, обладать долготерпением, быть приятным в обществе, не стремиться к тому, что для него не годится, он начитан и проницателен. Иначе он — не тот пилот, который требуется по правилу».

Этот один из немногих сохранившихся документов подобного рода показывает, что, кроме глубоких и разнообразных технических знаний, профессия лоцмана требовала обладания незаурядными волевыми качествами, и, конечно, именно она в сравнении с другими профессиями воспитывала эти качества наиболее быстро, полно и прочно. Не только умение, но и стремление вести корабль

---

[2] Зимородки (Alcedinidae) — семейство птиц из отряда кукушкообразных (Coccygomorphae). Известно около 150 видов. Большая часть из них обитает в теплых странах Восточного полушария. Зимородок серый (Ceryle rudis) живет в Африке, Азии и Южной Европе. Питается мелкой рыбой, но ходит и летает плохо, поэтому его появление говорит о близости суши.

в обстановке разнохарактерных противоборствующих обстоятельств, любовь к трудной и опасной профессии — вот наиболее истинное проявление волевого начала на арабской почве, а теоретическое обоснование этого начала — это и есть «философия усилий» в ее настоящем виде. «Если продлятся мои дни и ночи — буду водить корабли до своего конца», — говорит Ахмад ибн Маджид в одном из последних произведений, написанных в начале седьмого десятилетия жизни.

Труд в море, совместно перенесенные лишения, общие переживания в течение долгих лет сплачивали корабельных людей в более или менее устойчивые коллективы, однако высокооплачиваемая часть экипажа держалась особняком. Капитаны судов образовывали особые братства, представлявшие своеобразную форму профессионального объединения людей одной специальности и имущественного положения. По-видимому, кроме обязательств по взаимной выручке, их объединяло и общее сознание морального долга — при любой опасности до конца делить судьбу со своим судном, покидать борт последним.

«Мы, члены братства судоводителей, — заявляет арабский капитан в IX веке, — связаны обетами и клятвами не дать кораблю погибнуть, пока его не настигнет предопределенное. Мы, члены братства водителей судов, поднимаясь на борт, берем с собою наши жизни и судьбы. Мы живем, пока наш корабль цел, и умираем с его гибелью».

В «Чудесах Индии», сохранивших эти слова, купец-судовладелец Ахмад тоже не желает покидать свое судно, когда оно разбилось. Но почему?

«Шлюпку спустили на воду, и тридцать три человека разместились в ней. „Поднимайся, — сказали Ахмаду, — и садись в шлюпку“. — „Я не покину своего судна, — ответил он. — Оно внушает больше надежды на спасение, чем шлюпка. Если же оно погибнет, я погибну вместе с ним: не радует меня возвращение домой после потери имущества“».

Различие позиций ощутительно.

Небольшой отрывок из «Тысячи и одной ночи» дает возможность установить, что высокие моральные требования, которые предъявляли к себе арабские капитаны в профессиональной сфере, распространялись и на их от-

ношение к жертвам кораблекрушений. Когда Синдбад предлагает капитану спасшего его судна большое вознаграждение, тот отвечает:

«Мы ни от кого ничего не берем. Когда мы видим потерпевшего кораблекрушение на берегу моря или на острове, мы берем его к себе и кормим и поим и, если он нагой, одеваем его, а когда мы приходим в безопасную гавань, мы даем ему что-нибудь от себя в подарок и оказываем ему милость и благодеяние ради великого аллаха».

Бескорыстие людей, постоянно глядящих в глаза смерти, спрятанное под обиходной религиозной формулой, было свойственно и низшим членам морских экипажей. Иллюстрирующий факт пришлось наблюдать знаменитому марокканскому страннику Ибн Баттуте в начале его путешествия морем из Каликута в Китай:

«Утром в субботу джонка и какам[3] были уже далеко от гавани. Джонку, пассажиры которой направлялись к Фандарайне, море бросило на утесы, и она разбилась. Часть людей погибла, а часть спаслась. На этом судне была молодая рабыня одного из купцов, который ею дорожил. Он предложил награду в десять золотых динаров тому, кто ее спасет (она держалась за бревно под кормой джонки), и на это отозвался один хурмузский матрос. Он вытащил ее из воды, но отказался взять динары, сказавши: „Я сделал это ради всевышнего аллаха“».

Таким образом, тип Синдбада и тип Ахмада ибн Маджида, возникшие в процессе исторического развития арабского мореплавания и существующие параллельно, противостоят друг другу. Оба они представляют следствие роста производительных сил и расширения торговых связей — процесса, приводящего к раздвоению первоначального типа, в котором примитивный торговец соединен с древним лодочником. Два вида морской деятельности — пассивное пользование морем как средство достичь отдаленных рынков и активное владение морем как средство к существованию — вырабатывают определенные качества, дифференциация которых ведет к обособлению двух общественных типов с нарастающей поляризацией.

---

[3] Виды китайских судов.

2. Путешествие с героями Руставели

Весной 1968 года я приехал в Москву защищать свою докторскую работу. Накануне дня заседания Ученого совета в столице находились лишь два моих оппонента — доктор-москвич Юрий Николаевич Завадовский и член-корреспондент Академии наук Нина Викторовна Пигулевская, уже прибывшая из Ленинграда. Третий оппонент, из Тбилиси, все еще не появлялся. Я нервно ходил по канцелярии института, поглядывая на окно, за которым смеркалось.

Внезапно открылась дверь и вошел худощавый, подтянутый пожилой человек.

— Профессор Маруашвили? — бросился я к нему.

— Да. Вы — диссертант? Очень рад. — Он крепко пожал мне руку. — Волнуетесь?

— Я боялся, что вы не приедете. Путь из Тбилиси велик, и потом — вдруг обстоятельства...

— Но я же дал слово грузина, что приеду! — сказал профессор Маруашвили, смеясь. — Разве можно его нарушать? — Он удобно уселся в кресло, достал из кармана пачку сигарет и протянул мне:

— Что написано?

Я наклонился и прочитал по-грузински: «Даиси». Леван Иосифович — так звали профессора — серьезно посмотрел на меня и заметил:

— Диссертация у вас хорошая; но только сейчас я убедился, что вы — востоковед.

У этой шутки был глубокий смысл.

* * *

Учебная программа университета не может и не ставит своей целью подготовить ученого. Почему не может? Потому что для осуществления столь великой задачи пятилетний срок слишком ничтожен: ученый должен учиться всю свою жизнь. Почему, хотя бы в отношении избранных единиц, программа не ставит своею целью образовать ученых? Потому что — не говоря уже о том, что государство не может позволить себе иметь корпус «вечных студентов», — учить на ученого невозможно, он образует себя сам, трудясь в лаборатории жизни и никогда не ставя себе конечного рубежа. Он не ищет специальной темы

своих занятий, работа над которой даст начало его медлительному, неровному, но необратимому творческому созреванию; такая тема сама находит его, годами носящего в себе интерес ко всему, что лежит за горизонтами программы, мечтающего о совершенстве, готового ради этого отказаться от многих легких и скоротечных радостей. Он не предается томительным размышлениям о том, стоит ли ему читать того или другого восточного автора, а решает, что к восточным авторам в своем активе он должен прибавить и античных, оказавших столь значительное влияние на культуру Востока, — не говоря уже о Шекспире и Данте, Монтене и Лессинге, Кальдероне и Толстом. Наконец, он не задумывается над тем, какой язык «учить», чтобы «сдать минимум»: ему всегда, до конца его дней, нужен максимум, нужны языки и языки... Можно, конечно, и не вступать на этот путь, полный вечного напряжения, требующий жертв; никто не осудит человека, пожелавшего предпочесть учебную программу научной, рассматривающего свои университетские знания и навыки не как фундамент, а как готовое здание, в котором можно благополучно жить. Но такие люди навсегда остаются более или менее искусными ремесленниками, тогда как учеными становятся лишь художники науки.

Для чего же специалисту в определенной, пусть даже более или менее широкой области требуются «языки и языки», их удовлетворительное знание? Ученый-негуманитар ответит: «Так интересно же, ведь каждый язык — это целый мир». Филолог добавит к этому по крайней мере четыре обстоятельства. Первое — все познается в сравнении. С тех давних пор, когда человеческие племена стали общаться друг с другом через оружие или на мирной ниве обмена грубыми либо утонченными ценностями, питающими тело и дух, — «Krieg, Handel und Piraterie dreieinig sind, sie nicht zu trennen»,[4] говорится в «Фаусте», — языки стали взаимопроникать, каждый из них подвергался влияниям и, в меру прогрессивности отраженных в нем явлений, влиял сам. Теперь, на исходе второго тысячелетия новой эры, уже имеется достаточно материала, чтобы оценить всемирный ряд языков, про-

---

[4] «Война, торговля и пиратство триедины, их не разделить» (*нем.*).

шедших сквозь эволюционное созревание и революционные взрывы, — или, по крайней мере значительную часть этого ряда — и критически поверить картину данного языка картиной других, уберегая его в нашем представлении от гордыни или уничижения, проясняя его истинное лицо. Второе обстоятельство: если, допустим, сравнивать арабский и грузинский языки (как ряд и других пар), то это дает и представление о среде, в которую попали арабы при завоевании Кавказа. Какая из культур была выше? Было ли изменение исторических судеб данной страны прогрессивным явлением или, наоборот, оно отбросило ее на столетия назад? Третье: ассоциации. «Постойте, постойте, да ведь сходная грамматическая конструкция, сходный литературный сюжет есть в другом языке, именно в...». И не важно, что там это оформлено по-другому, ведь содержание то же! Ученый, помнящий о том, что человек един, неустанно ищущий параллелей в «неспециальных» для него сферах, часто находящий их там, где меньше всего ожидал найти, обогащает свое исследование, он делает его полнокровным и вечно свежим, будящим новые и новые мысли, он делает его поучительным. Наконец, четвертое: все взаимосвязано, в частности — все культуры Востока зримыми или пока не совсем проясненными нитями связаны между собой. Они влияли друг на друга, и это позволяет расшифровывать элементы одной культуры при помощи элементов другой. Но для выполнения столь ответственной задачи ориенталисту необходимо иметь удовлетворительное представление о разных языках Азии, Африки и Океании.

Таким образом, не следует удивляться тому, что 30 ноября 1966 года, когда в институте с зеркальными окнами на Неву праздновался юбилей великого Руставели, в дружную семью грузиноведов, излагавших на ученом заседании результаты своих исследований текста «Витязя в тигровой шкуре», «затесался» арабист. Причудливые географические названия, встречающиеся в этой поэме, при всем своеобразии внешнего облика, как-то уж очень настойчиво перекликались с теми, которые были мне известны по занятиям арабской морской географией, либо же с теми, существование которых в дальние века можно было себе реально представить, даже еще не успев увидеть их в исторических документах. Последовали долгие разыскания и кропотливые со-

поставления, для которых, кроме грузинского и арабского, пришлось привлечь также санскритский, персидский и армянский материал. В итоге появился небольшой доклад «Географический ареал поэмы Шота Руставели», который мне бы хотелось привести здесь, чтобы показать, каким образом данные разных восточных языков и культур могут быть плодотворными друг для друга и насколько широкие сопоставления могут сделать относительно небольшую историческую картину яркой и выпуклой.

* * *

«Попытки отождествления географической номенклатуры «Витязя в тигровой шкуре» (иногда «вэпхи» понимают как «барс», а не «тигр», но тут слово грузиноведам) небезынтересны потому, что они стремятся выяснить, где реально протекало действие бессмертной поэмы Шота Руставели. Такие попытки предпринимались уже давно, однако их результаты все еще нельзя считать окончательными. Печально, что иногда здесь приходится сталкиваться с несерьезным подходом к этой важной теме. Например, статья „Историко-географические основы поэмы Руставели", подписанная инициалами А. С. и опубликованная в 1936 году, помещая Мулгазанзари на Черном море, Гуланшаро — в Венеции, а Каджети — на Гибралтаре, игнорирует столь общеизвестный факт, что во время Руставели суда из Индии не могли достигать черноморской акватории через Суэцкий канал, ибо еще не родились ни Лессепс, рассекший две части света протоком из моря в море, ни Верди, увековечивший рождение новой международной магистрали пленительным пафосом „Аиды"; а древний путь из Красного моря к Нилу был засыпан еще в восьмом веке по приказу багдадского халифа Мансура. Не ясно также, зачем понадобилось завозить прекрасную Нестан-Дареджан далеко в сторону от заранее заданного, как считает А. С., ее маршрута в Каджети. Нельзя объяснить и того, почему венецианский дож справляет мусульманский праздник Нового года — новруз. Элементарные несоответствия такого рода, встреченные при изучении истории вопроса, освобождают меня от дальнейшей полемики и позволяют перейти к позитивному изложению темы.

Действие „Витязя“ начинается во владениях „Ростевана, царя арабов“. Это не северная, бо́льшая часть Аравийского полуострова, редко населенная кочующими племенами и мало тяготеющая к морю, которое, как увидим, будет играть в поэме довольно значительную роль. Речь идет скорее о Южной Аравии, Arabia Felix[5] римских авторов, знавшей и царицу Савскую (сабейскую), возможный прообраз Тинатин, и могучего царя, осаждавшего Мекку с помощью индийских боевых слонов («А лям т’ра ка́йфа фа̀аля ра̀ббуки би-асха̀би ль-филь?» — «Разве не видишь, как поступил твой господь со слоновщиками?» — говорится об этом в 105-й суре Корона). Сабейское царство, Хадрамаут и Химьяр, которые вели дальнюю морскую и караванную торговлю, были широко известны и на Индийском океане и в благодатной Колхиде. Здесь исстари культивировались разведение благовонных растений, городские ремесла и судостроение. Ум и руки поколений превратили Южную Аравию в благоухающий сад; недаром название Адена сразу напоминает нам об Эдеме, том самом, о котором так ярко говорит чеканный стих Руставели: „Мепета шиган сиухве вит эдемс алва ргулиа“ ...[6] Здесь, в одном из давно угасших мировых царств древности, поэт помещает великого царя Ростевана. Как и в случае с Тинатин, мы и тут встречаемся с реминисценцией: „царь“ — это теперь всего лишь наместник багдадских правителей мусульманской державы; правда, столица метрополии далеко, власть некогда мощных властителей полумира становится все более призрачной и уже немало провинций отпало от халифата, однако йеменский наместник, фактический хозяин древней Сабы, номинально все еще обязан отчетом двору на берегах Тигра. Здесь же, в „царстве Ростевана“, в одинокой пещере тоскует по своей возлюбленной пленник светлой печали Тариэль. Встреча двух первых персонажей повествования, обусловленная пребыванием на одной и той же ограниченной территории, образует завязку поэмы.

Тариэль — воспитанник владыки шести, позже семи индийских княжеств, в которых ученые видят Пенджаб,

---

[5] «Счастливая Аравия» (*лат.*).

[6] «Присуща государям щедрость, как Эдему — взращенное там алоэ» (*груз.*).

Синд, Гуджарат, Дели, Гвалиор, Бихар и Бенгалию. Они лежат в Северной Индии, там, где около пяти веков назад скиталась отверженная принцесса Мира Бай, вознося к своему возлюбленному, богочеловеку Кришне, торжественные гимны любви и душевного смятения; самый воздух этих предгималайских просторов насыщен поэзией высокой человеческой страсти, не обошедшей и Тариэля. Семь княжеств на большом пространстве выходят к океану, в них развита навигация. Это подтверждается и титулом Тариэля — „амирбар“ (грузинское «амирбари»), восходящим к арабскому сочетанию «амир аль-бахр“ — «повелитель моря», от которого, через романские формы, произошло и русское «адмирал». Но когда злая Кадж-Давар велит неграм (не каджам: они лишь сравниваются с каджами по внешности[7]) увезти Нестан-Дареджан и покинуть ее там, „где бушуют волн обвалы, где б ей был родник неведом, ни замерзнувший, ни талый“ (116), то здесь ни слова не говорится о Каджети, как иногда думают (хотя Каджети, как увидим ниже, тоже находится в Индии и туда несложно было добраться каботажным маршрутом, давно и подробно описанным в арабских навигационных текстах), а просто имеется в виду пустыня на дальнем морском берегу. Но корабль попадает в царство Мулгазанзар, а затем, спугнутый Нурадином-Придоном, вновь уходит в море и достигает города Гуланшаро.

Что же такое Мулгазанзар, грузинское „Мулгазанзари“? В этом длинном названии мы можем прежде всего выделить элемент „мулг“, соответствующий арабскому „мульк“ — „владение, царство“. Следующее „а“ — это не соединительная планка, наблюдаемая в армянском («лус-а-бэр» — «светоносец», «ынтэрдз-а-ран» — «читальня», «юсис-а-пайл» — «северное сияние»), а персидский изафет (приложение) „и“, который в неударной позиции может звучать как „э“, приобретающее в беглом произношении чужеземца оттенок „а“. Далее „занзари“ — это персидское „занг-и-зар“ — „золотой Занг“. Занг, в арабской передаче Зандж — область на восточном

[7] Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре. Пер. с груз. Ш. Нуцубидзе. М., 1941, с. 116. Цитаты с указанием (в скобках) страниц даются далее по этому переводу как наиболее близкому к оригиналу.

побережье Африки между Могадишо и южной границей озера Виктория, старинное лоно золотодобычи, практически включавшее в себя и знаменитую „золотую Софалу". Смешанное арабско-персидское имя правителя этой области в поэме — Нурадин-Придон (правильно Нураддин Фаридун) — хорошо подчеркивает важнейшую роль обеих культур на этом побережье, засвидетельствованную историей. Остров, которым владеет его дядя, — это скорее всего Занзибар (в имени которого сочетаются персидское «занг» и санскритское «вара» — «страна»), настолько связанный с материком, что ныне он составляет единое государство с Танганьикой — Танзанию. Как же попали негры и Нестан-Дареджан в это „царство золотого Занга", арабско-персидское „мульк и-занг и-зар", руставелиевское „мулгазанзари"? Если не говорить о северо-восточном муссоне — мы не имеем в поэме указания на время года, — то известны случаи, когда в периоды штиля в западной части Индийского океана суда ложились в дрейф и течение сносило их на юго-запад; в 1472 году к берегам Африки была отнесена „тава", на которой русский купец Афанасий Никитин возвращался из Индии в родную Тверь. Видя в Мулгазанзаре Зандж, мы понимаем, почему Тариэль, находящийся в южной Аравии, объясняет Автандилу направление в царство Придона словами: „На восток держи дорогу" (170). Это хорошо известный арабским мореходам путь по Аденскому заливу от Баб-эль-Мандебского пролива до мыса Гвардафуй, за которым следует крутой спуск на юго-запад вдоль африканского берега. После всего сказанного реальные реминисценции вызывает у нас и характеристика Придона: „В город наш из стран далеких путь открыт морскому люду" (125): как известно, еще задолго до новой эры восточное побережье Африки регулярно посещали арабские, персидские, индийские, а изредка даже китайские торговые суда. Наконец, еще одно обстоятельство: сокрушив Каджети, витязи привозят Нестан-Дареджан в Мулгазанзар в январе («И борей нарциссы движет, розу стужей жжет январь», — 243), т. е. благодаря северо-восточному муссону. Это последнее подтверждение принятой идентификации.

Из Мулгазанзара Автандил в поисках Нестан-Дареджан приезжает в „Гуланшаро". Что это за место? Когда исследователи, пытаясь расшифровать имена местностей,

упоминаемые грузинским поэтом, добираются до их нарицательного значения, они часто заводят себя в тупик, ибо и „городов лужайки“ и „городов роз“ в мире много и, стало быть, само название исключается из аппарата аргументации. Между тем, если грузинское „шаро“ — это действительно персидское „шахр“ — „город“, то грузинское „гулан“ представляет не что иное, как название порта Кулам (Кулам-малай) в южной части западного побережья Индии, уже недалеко от мыса Коморин. Чтобы попасть сюда, Автандилу действительно пришлось „проехать море“ (186). Как и в других портах западной Индии, служивших арабской морской торговле, — Каликуте, Кабукате, Дабуле, Махаяме, Дамане, Камбее — в Куламе был туземный царек. Сила его власти зависела от благосостояния арабской купеческой колонии, поэтому взаимоотношения были достаточно близкими: глава колонии Усен, как звучит это имя у Руставели, т. е. Хусейн (Фатима и Хусейн — так звались жена и сын первого шиитского имама Али ибн Абу Талиба — весьма распространенные в шиитской среде имена, и оба они фигурируют в грузинской поэме) пирует бок о бок с царем. Вся эта обстановка делает понятной строфу (201):

До его [т. е. Усена] прихода царь уж не один испил стакан.
Чаши полны, все довольны, пили вволю, стол весь пьян.
Все забыто: что тут клятвы, что тут вера, что Коран!

Раджа в Куламе с основанием может быть назван „морским царем“ (242): находясь посреди Индийского океана, у стыка его западной и восточной половин, Кулам контролировал все судоходство в этом обширном районе; за проход к востоку, в Бенгальский залив и далее в Китай, каждое судно платило куламскому властителю тысячу арабских дирхемов. Если нанести на карту данные, приводимые арабскими географами девятого и десятого веков Абу Зайдом Сирафским, Ибн Хурдадбихом и Бузургом ибн Шахрияром, то к порту Кулама протянутся три линии регулярного морского сообщения: из Адена и Райсута в южной Аравии и от знаменитой гавани Сираф на восточном берегу Персидского залива. Разбогатевший благодаря своему географическому положению, этот южный порт Малабарского берега в средние века делит с Аденом, Софалой, Маскатом и Сирафом,

позже с Басрой — откуда уходит в свои семь путешествий Синдбад, Хурмузом — сказочным „Гурмызом“ старой русской литературы, и Каликутом — куда в 1498 году арабский кормчий привел первых португальцев, славу международного средоточия морской торговли на западе Индийского океана.

Когда Автандил пускается в путь из Гуланшаро в Аравию, „весна была в разгаре, зеленела уж поляна, срок пришел цветенью розы“ (224). И он спешит не только чтобы обрадовать Тариэля вестью об обнаружении Нестан-Дареджан, но и потому, что кончается попутный северо-восточный муссон, длящийся от осеннего до весеннего равноденствия. Это еще раз подтверждает правильность отождествления Гуланшаро с Куламом.

И наконец, Каджети.

Это место находится неподалеку от Гуланшаро, в нескольких днях пути посуху (210, 241). „Как-то раз я был в Каджети“, — говорит Придон (232). Неудивительно: морские сношения между Индией и Восточной Африкой происходили регулярно еще задолго до основания португальской колониальной империи на Индийском океане. Далее он продолжает:

...Эта крепость — грозный град,
Трудно брать его с налету — гор высоких крепок ряд.

И это понятно: Каджети находится в Малабаре, горной стране. Название „Малабар“ происходит от санскритского „малайава́ра“ — „страна Малайа“; Малайа — имя горного хребта (Западные Гаты, ср. „ги-малайа“, Гималаи). Но что означает название Каджети?

Зная, что „-эти“ («-ети») — грузинский суффикс местности (Хевсурети — «страна хевсуров, Хевсурия», но не Хевсуретия, как иногда пишут, ибо здесь русский суффикс накладывается на уже имеющийся грузинский; Русети — «Россия», Франкети — «-Франция»), мы можем перевести его как „страна каджей“. Но что такое „кадж“, грузинское „каджи“? Санскритский словарь дает значения: „кача“ — „имя местности“; „каччха“ — „берег, побережье; название народности“; небезынтересно и слово „какша“ — „потаенное место, убежище; название народа“. Если помнить о том, что старое индо-персидское „а“ — открытое, что придает ему о-образный оттенок (ср., напри-

мер, персидское «мадэр и-ма» — «наша мать»), откуда таджикское соответствие в виде „о“, то название порта Кочин севернее Кулама даст нам нужную локализацию.

Выводы. 1. Географические названия в поэме Шота Руставели нельзя считать вымышленными, как нередко полагали специалисты. Они представляют грузинское отражение реальных форм персидского первоисточника, по-видимому переданного поэту устным путем. Он сам признает существование этого первоисточника (28).

2. Неточности, наблюдаемые в грузинской передаче топонимов арабско-персидского и индийского происхождения, относятся к тому же разряду, что и неточности в передаче нарицательных:

„амирбари“ — от арабского „амир аль-бахр“ — „повелитель моря“;

„миджнури“ — от арабского „маджнун“ — „одержимый“;

„мулими“ — от арабского „муаллим“ — „учитель“;

„патераки“ — от арабского „хатар“ — „опасность“;

и таких собственных, как „Усен“ — от арабского „Хусейн“.

Выяснение причины таких расхождений не входит в тему этого сообщения. Заимствуя у соседей, грузинский язык более скрупулезен: „гишéри“, употребляемое Руставели, точно воспроизводит армянское „гишерú“ (с естественным передвижением ударения) — „драгоценный черный камень“ (по-видимому, от армянского же «гишéр» — «ночь»).

3. Влияние персидского первоисточника, может быть и весьма несовершенного, уже вне зависимости от других аргументов снимает вопрос о Грузии и южной Европе как местах действия „Витязя в тигровой шкуре“. Перед нами естественная среда творчества ближневосточных народов в средние века — Индийский океан.

4. При всем этом поэма Руставели представляет оригинальный памятник географической культуры грузинского народа, показывающий, что еще в ту далекую пору поэт сознавал: истинный патриотизм неотделим от уважения к другим нациям, вносящим свой вклад в сокровищницу гуманизма. В этом сознании — одна из тайн бессмертия „Витязя в тигровой шкуре“, великой „Вэпхисткаосани“».

* * *

...Снова и снова перелистываю страницы поэмы. Был ли я до конца прав в своих выводах? Лучший судья — время: будущий исследователь, быть может, внесет свои уточнения. Но я рад, что занимался «чужой» темой: рассмотрение материала со стороны в свете хорошо знакомых данных может помочь востоковедам, работающим в других отраслях, и, кроме того, всегда обогащает специальную область, которой отдана твоя жизнь.

И когда я об этом думаю, одно имя прежде других оживает в памяти: Юшманов. Это он, виртуозный знаток множества языков, мысливший универсальными категориями, смело сталкивал слова разных народов и скрупулезно изучал их скрытый механизм, стараясь проникнуть в тайны происхождения и развития этих вечно живых форм; и я, как мог, старался идти по его следам.

3. Кто такой Даба́вкара?

Арабист не может быть равнодушен к Индии. Еще не сознавая этого ясно, я, должно быть, инстинктивно чувствовал органическую связь двух великих культур, когда первокурсником записал в студенческий соцдоговор, в качестве своего повышенного обязательства, пункт об изучении санскрита.

Действительно, плавания обитателей Аравийского полуострова к Малабарскому берегу за строительным лесом начались еще при вавилонских царях, и не один лес, конечно, привозили из-за моря отважные первопроходцы, но и реминисценции о дальнем крае, незаметно вплетавшиеся в народные предания и становившиеся их естественной частью. VIII век, благодаря в основном трудам ученых переводчиков Фаза́ри и Яку́ба ибн Та́рика, познакомил арабский мир с произведениями индийской астрономической и географической мысли. Пример знаменитого Биру́ни или не менее известного в истории науки Абу́ Ма́шара Ба́лхи, Albumasar'а средневековой Европы, отступившегося от религии ради изучения индийских и персидских астрономических трактатов, показывает, насколько живым было влияние этой мысли на новой почве. Обратное воздействие, шедшее из арабских факторий

в западной Индии, этих давних и прочных центров международной морской торговли в южной Азии, наиболее выпукло проявилось не только в новоиндийском словаре, где причудливая санскритская одежда не скрывает аравийского происхождения огромной массы слов; ярчайшим образом оно сказалось и в учении «бхакти».

Догма «бхакти» — «преданности», — построенная на культе легендарного пастуха Кришны, могущественного защитника всех обездоленных, слила в себе индуистские и мусульманские идеалы добра; не случайны ни равнозначность слов «ислам» и «бхакти», ни одинаковое, согласно традиции, происхождение Мухаммада и Кришны — по рождению из верхушки общества, по положению из социальных низов, — как не является историческим совпадением глубокое проникновение обоих учений в толщу народных масс, жаждавших переустройства жизни на основе справедливости. Демократизм нового культа, как и в Аравии, утверждавшего свое торжество в острой борьбе с прежними, аристократическими вероучениями, привел к появлению яркой «поэзии бхакти», принесшей бессмертие именам Кабира и Малика Мухаммада Джаяси, «индийского Гомера» Сурдаса и творца «Рамачаритаманасы» Тулсидаса. Рядом с ними стоит принцесса и странствующая отшельница Мира Бай.

Читатель уже почувствовал в столкновении определений драматизм этой жизни. Начавшаяся в 1498 году, она ровно текла в Северной Индии, сперва в состоятельном отчем доме, потом в роскошных дворцовых покоях мужа Миры Бай, наследного принца Меварского княжества Бходж Раджа. Коллизия пришла со смертью супруга, когда его родичи стали преследовать двадцатитрехлетнюю вдову за то, что родовому культу богини Кали она предпочла поклонение Кришне. С этих пор начинается четвертьвековый период ее поэтического творчества — годы счастья, когда интеллект, обретя смысл существования, обнажает и умножает свои внутренние силы, годы тревоги, когда жизнь инакомыслящей постоянно скользила над бездной. Гордая принцесса покинула дворец и стала бродячей песнопевицей. Она обошла весь индийский Север, слагая гимны во имя Кришны и распевая их в храмах. Никто из близких не принял ее последнего вздоха в 1547 году; но ее песнопения, исторг-

путые сердцем, полным поэзии любви, стали национальным богатством Индии.

Что поставило Миру Бай в один ряд с великой плеядой поэтов «бхакти»? Искренняя, животрепещущая страстность ее стихотворений. Это — общее, связующее, а где выделяющее, частное? Оно состоит в том, что творчество странницы, вдохновляемой своими страданиями, согрето интимным чувством любящей женщины. Кришна — он же Гирдха́р На́гар, Ха́ри, Шьям, Рам, Гови́нда, Мура́ри, Моха́н, Динана́тх — ее вечный возлюбленный; сами гимны, обращенные к нему, созданы на языке области Брач, где, как повествует легенда, протекли детство и юность обожествленного пастуха. Высшее откровение жизни, земная любовь — не бесплотное, а сотрясающее душу телесное чувство с его радостями и печалями, — вся палитра простых и глубоких человеческих переживаний проходят в песнопениях Миры Бай, тревожа каждое живое сердце.

Вот она еще в дворцовых покоях думает о своем избраннике:

И день и ночь раскрыты веки:
Гляжу туда, где смуглый Он.
Его блаженный лик навеки
В моей душе запечатлен.

Стою. В дворце умолкли звуки.
Покорно жду его шагов.
Его возлюбленные руки
Моей судьбе гнездо и кров.

Он мне единственный целитель,
Кем сохранится жизнь моя.
Мне Нагар — полный повелитель.
Мир говорит: безумна я.[8]

Думы длятся...

В глазах у меня поселен смуглолицый Шьям,
Как будто их свет, как будто бы их слеза.

---

[8] Переводы мои, — *Т. Ш.*

Объяснение индийских реалий: маскара — благовоние; цвет шафрана — символ отверженности и печали; Джамна — река в Северной Индии, приток Ганга; Бальбир — молочный брат Кришны; койла — певчая кукушка; Драупади, жена пяти братьев Пандава — персонаж «Махабхараты». Когда в отсутствие мужей Духшасан, брат Дурйодхана, пытался ее публично раздеть, Кришна, по просьбе Драупади, сделал ткань ее сари (верхней одежды) бесконечной.

Прекрасный, как лотос, мной воцарен он там,
И даже на миг боюсь я закрыть глаза.

Я в сердце своем поселила его, любя,
Увидеть Мурари могу я во всякий час.
Роскошно и пряно украсила я себя
И ложе свое приготовила я для нас.

Ты, Нагар, для Миры — владыка, исток услад.
И сердце ее не вмещает ее отрад.

Рана Ратан Синг, деверь Миры Бай, взойдя на меварский престол, решил избавиться от иноверной и строптивой невестки, попирающей устои царствующей семьи. Он послал ей кубок с отравленным питьем, но Кришна чудесным образом превратил яд в нектар:

Ты, царь, пытался отравить меня.
Но встала я из пепла
жизни всплеском.
Так золото выходит из огня,
Двенадцать солнц напоминая блеском.

Я отшвырнула так, что не найти,
Престиж семьи и страх пред чьим-то мненьем.
Так и ручей кипящий с нетерпеньем
Швыряет все, что на его пути.

О, Рана-царь, ты устыдись неслышно:
Бессильна я — и я душой больна.
Пронзила сердце мне стрела от Кришны,
Рассудок мой похитила она.

Служу я тем, кто смял свою гордыню,
Я прах у их лотосоликих ног.
Мой властелин признал во мне рабыню
И ввел меня служанкой в свой чертог.

Только любовь поддерживает силы молодой женщины, лишь она, как солнце, светит ей из-за сгущающихся туч жизни.

Звенят бубенцы на ногах, я танцую. Волнуется кровь.
«Безумна она», — по селеньям разносится весть.
«Она запятнала, — разгневанно ропщет свекровь, —
Старинного нашего дома семейную честь».

Мне послан был яд от царя. Но, не зная тревог,
Отравленный кубок не я ль осушила до дна?
Что Мире бояться? У Хари сияющих ног
И тело и душу назначила в жертву она.

Безмерную сладость я пью, лицезрея его,
От Хари убежища жду, от него одного.

Стены дворца тесны для любви. Охваченная страстью женщина решила уйти в ряды странствующих отшельников, надеясь встретить Кришну и спастись от преследований царственных родичей на лоне первозданной природы.

Не знаю, друг, как сходятся сердца,
С владыкою моим как повидаться мне.
Возлюбленный пришел — и вышел из дворца,
Когда бедняжка я простерлась в тяжком сне.

Сорву шелка, чтоб шерсть меня одела,
Косматой стану, разломлю браслеты,
Не умащу отверженного тела
И жизнь приму, какой живут аскеты...

Она ушла. Но ненависть и козни идут за нею следом.

Зачем вражда в тебе заговорила,
Что за вину перед тобой несу,
О Рана — куст колючего карила
Среди деревьев в девственном лесу!

Я бросила дворцы, хожу без свиты,
Я не живу в твоей столице, Рана!
И знак на лбу и маскара забыты,
И на моей одежде цвет шафрана.
Мне повелитель — Нагар, сердцу дар,
Кто царский яд преобразил в нектар.

Она уходит все дальше. Ничто не остановит человека, стремимого любовью. Лишь на родине Кришны, там, где среди задумчивых нив и лесов несет свои воды священная Джамна, придет в сердце покой и, может быть, утоление чувства.

Вернись, о сердце, к вечной Джамны непозабытым берегам,
Светла вода у Джамны, сердце, и освежает, как бальзам.
Сопровождаемый Бальбиром, там Кришна флейтой будит лог,
Там желтый шарф его увидишь у всех пастушеских дорог.
На нем венок с пером павлина, и, как морские жемчуга,
В его ушах горят алмазы, как солнце — каждая серьга.
Для Миры повелитель — Нагар, ему ее подвластен мир.
Ему товарищ в чистых играх — блаженный брат его Бальбир.

Она достигла обетованных мест, она бродит по тропам, где некогда ступала нога ее божественного возлюбленного. Живая женщина, томимая любовью, заполнившей все ее существо, тоской разлуки и неотвратимого

увядания, бесконечно беседует с вечным наперсником своих мыслей, изливает ему свои тревоги и радости. Его образ то приближается к ней — и она страстно простирает к нему дрожащие, огрубевшие руки; то исчезает — и она горько и беззащитно плачет: ведь больше у нее никого нет.

Как жаждут, Шьям, тебя мои глаза!
Весь день, застыв, следила я дорогу,
И день прошел, оставив мне тревогу.
Гора печали пала на глаза.

Поет на ветви койла. Внемлет мир.
От этой песни стонет голова.
Он извергает грубые слова
И надо мной смеется, этот мир.

Но Шьям хозяин мне, моя твердыня.
На много жизней я его рабыня.

Идут и идут усталые, потрескавшиеся ноги. Зной, тишина, одиночество.

Что Нагар сух со мной вчера и ныне?
Когда во мне изъян, скажи — какой?
Склони свой слух ко мне, твоей рабыне:
Ты в жизнях всех моих, владыка мой,

Достоинствами наделен одними.
И Мира Бай, печальна и нежна,
Твое, о Шьям, единственное имя
Твердит, забыв другие имена.

Любовь гонит одну тень к другой, не давая передохнуть и оглянуться, — так некогда она гнала нагую Суламифь к ложу Соломона, так свежий ветер несет сухую траву к пожару.

Хари! Ты беды отводишь в опасности час.
Слуги твои не тобой ли спасаемы, Хари?
Стыд Драупа́ди не ты ль от бесчестия спас,
Ткань продлевая ее непорочного сари?

Львом предстаешь, своего защищая жреца.
Ты из пучины возносишь на небо слона.
Скорби, Гирдхар, от меня отведи до конца!
Мира тебя умоляет, смятенья полна.

И однажды — остановись, мгновение... — ей приснилось, что он пришел.

Века и века я следила дорогу бессонно,
И вот он, любимый, у дома стоит моего.
Вчера одинока, ласкаюсь я с ним упоенно.
Я, ради молитв запечатав блаженное лоно,
Бесценные геммы свои сберегла для него.

О, сколько ушло неотступных и жарких молений!
Мне знаменье нынче любовь посылает свое:
Мой тайный любимый пришел для утех и томлений!
От счастья прекрасным становится тело мое.

Нас два океана: один — океан сладострастья,
Прикованы очи к нему и любви не унять.
Другая — смотри — океан долгожданного счастья,
Я друга такого сумею достойно принять.

А годы шли.

В один из дней увядшие губы в последний раз произнесли имя, под которым, как под солнцем, протекла вся жизнь.

* * *

Вдохнув столь глубоко воздух Индии, мы психологически облегчили себе задачу ответа на вопрос, вынесенный в заглавие. Ибо за внешним своеобразием вскрылась общечеловеческая основа, управляемая во всех областях, а значит и в языке, точными и неотвратимыми внегеографическими законами.

Итак, Даба́вкара. Кто он такой, тот, кого упоминает лоцман Ахмад ибн Маджид в главе об истории мореплавания, открывающей энциклопедическую «Книгу польз в рассуждении основ и правил морской науки»?

«В их время [9] среди знаменитых капитанов были Абдальази́з сын А́хмада с Запада, Му́са Кандара́нский и Маймýн сын Хали́ла. До них сочинял А́хмад сын Табрýи, львы же моря́ заимствовали из его сочинений и переняли описание у капитана Хаваши́ра сына Ю́суфа сына Сала́ха Ари́кского; последний в четырехсотом году от Пе-

[9] Т. е. во время трех «львов моря» — Муха́ммада ибн Шаза́на, Са́хла ибн Аба́на и Ла́йса ибн Кахла́на (XII в.).

реселения Пророка[10] и близко к тому плавал на судне индийца Даба́вкары. . .».

Первооткрыватель арабских мореходных рукописей Габриэль Ферран пытался связать это имя с названием порта Дибругарх. Однако дальний континентальный порт в среднем течении Брахмапутры не знаком арабской навигационной литературе, откуда следует заключить, что вряд ли он имел существенное значение для морской торговли.

Что же тогда?

И тут я зрительно вспомнил слово dhow английских словарей со значением «одномачтовое арабское судно с треугольным парусом». Если рассечь «дабавкара» пополам и сопоставить первую половину — «дабав» — с dhow, то налицо разительное совпадение начальных и конечных звуков, а деформацию средней части легко объяснить неудобной фонетической позицией, которую занимает «б» между неударным гласным и вторым губным звуком; будучи ослабленным, этот звук «тянет на себя», т. е. ассимилирует с собой сильное «б», а затем как бы поглощает его; однако здесь нет бесследной гибели, «эйч» (h) в английском dhow высится как памятник растворившемуся слогу. Хорошо, но «...арабское судно...» и «индиец Даба́вкара»... Все могло быть, конечно, а вот не избавиться от какой-то внутренней неловкости: что-то здесь не то. Да, английские же, но уже этимологические словари — Скит 1910 г., Уикли 1921 г. — подтверждают: не то. Они отрицают арабское происхождение dhow и возводят это слово к западно-индийскому языку маратхи, куда оно, возможно, проникло из санскрита.

Современник Ахмада ибн Маджида — русский купец Афанасий Никитин, которого прихотливая судьба забросила из родной Твери в Индию, — пишет в своем «Хожении за три моря»: «Шли есмя в таве шесть недель морем до Чивиля»[11]... «А привозят все морем в тавах, Индейскыя земли корабли»... Комментарии к новейшему изданию «Хожения», как и классический словарь И. И. Срезневского, одинаково объясняют слова «тава» как название морского судна, произошедшее от «даба» языка маратхи.

---

[10] В 1009—1010 гг.

[11] Чаул, порт на побережье Западной Индии.

Веком раньше Никитина арабский путешественник Ибн Баттýта, описывая три разряда китайских судов, виденных им в малабарской гавани Каликут, называет средний из них «зав». Это слово, от китайского «сао» (или «соу»), обозначающего судно вообще, проникло в арабский еще в IX веке, что неудивительно, если вспомнить, что за два столетия до того начались арабские морские посольства на Дальний Восток, а в 851 году уже появились известные «Сказания о Китае и об Индии» Ибн Вахба и купца Сулаймана. Индо-китайские связи этой поры находились уже в весьма развитой стадии, и не лишено оснований предположение, что «сао» есть другое видоизменение маратхского «даба» («дабба», «дабав»).

Если так, то возникает стройная картина развития единого западноиндийского слова по трем — северному, восточному и западному — направлениям, картина весьма вероятная в обстановке тесных экономических связей между разными культурами в бассейне Индийского океана.

Когда, таким образом, выяснится значение первой части слова «дабáвкара», то объяснить вторую на том же индийском материале будет уже не так сложно: «-кара» — это «делатель, -дел». Итак, выражение «дабавкара» — составное; его значение — «судостроитель».

Понимание арабским текстом XV века нарицательного обозначения в смысле собственного имени не должно вызывать удивления: от Ахмада ибн Маджида, славного кормчего южных морей, даже при том условии, что он превосходно знал пути индийской навигации, нельзя требовать исчерпывающего знания ни маратхи, ни другого из языков Индии. Был ли он «мавром из Гуджарата», как именуют его португальские хронисты XVI века? Это все еще вопрос, ждущий своего разрешения, и трудно предугадать ответ. Впрочем, возможно, что «дабáвкара» было уже прозвищем «индийца»?

Здесь, если поддерживать существующее искусственное разделение, филолог уступает место историку, который говорит: весьма небезынтересно, что арабский лоцман XI века плавал на индийском судне, причем неоднократно. И делает нужные выводы, конечно, с необходимой осторожностью.

* * *

Дифференциация наук — естественное следствие процесса накопления знаний. И все же порой я не могу ду-

мать о ней без грусти, ибо некоторые начинающие ученые понимают ее как обособление наук; это приводит к тому, что в исследованиях утрачивается перспектива и явления рассматриваются вне их взаимосвязи. Старые востоковеды были энциклопедистами — не только потому, что в науке существовало более диффузное представление о Востоке, чем сейчас, но и вследствие того, что нельзя хорошо знать данную общественную культуру, не разбираясь достаточно глубоко во всех остальных, по крайней мере, в смежных. Исчерпывающая оценка того или иного явления предполагает скрупулезный учет всех прямых и обратных влияний.

ПОЭТ ПРИ ДВОРЕ ШИРВАНШАХОВ

Из вдохновенья, из утех пустых
И темных бед — о, сколько было их! —
Ширваном царственным прилежно соткан
Узорный плащ для слабых плеч моих.

А в час, когда покину мир живых,
В узорный плащ меня оденет стих,
Свидетель дней тревожных и ничтожных,
Печать бессмертных радостей моих.

Атааллах Аррани.

Осенью 1936 г., незадолго до того, как исполнилась моя давняя мечта начать самостоятельное исследование под руководством Крачковского, я как-то подошел к нему в Институте востоковедения. Он сразу заметил в моих руках стопку исписанных по-арабски тетрадей, перевязанную накрест.

— Что это у вас?

Робея под пристальным взглядом «шейха», я, запинаясь, ответил:

— Игнатий Юлианович... Хочу показать вам сборник стихов... арабских стихов шемахинского поэта Ширвани, еще он называет себя Атааллах Аррани...

— Вот как, стихи! — отозвался Крачковский, развязывая рукопись. — Ну, что ж, это всегда любопытно, если только не натыкаешься на какие-нибудь суррогаты. Где вы сие добыли, в своей Шемахе?

— Да, Игнатий Юлианович, на каникулах...

Я рассказал, что еще в детстве любил бродить по развалинам в местечке на севере Азербайджана, где жил и учился в школе. Резиденция иноземного наместника в XVI—XVIII вв., захолустный городишко в прошлом столетии, рядовой райцентр в нынешнем Шемаха когда-то была пышной столицей ширваншахов, знавшейся через послов с Московией и Венецией, Индией и Китаем. Давно уже войны и землетрясения развеяли следы прошлого, но не хотелось верить, что решительно все безвозвратно погибло. «Так не бывает, не бывает, — говорил я себе, — что-то должно остаться». Образ «шамаханской царицы» жил для меня не в пушкинском томике, он виделся моим по-своему всматривавшимся в руины глазам за арабской вязью надписей на гробницах и за гармонией стрельчатых арок. Старшеклассником я, застыв, слушал хирурга Сазонова — одинокого старика, местного старожила, — когда он увлеченно рассказывал мне об успешных раскопках археолога Фитуни вокруг Шемахи и в окрестных селах. Названия поселений Лагич, Басхал, Сулут, затерянной горной реки Неал звучали загадочно и будили все новые мысли. «Интересно?» — спрашивал меня Сазонов и сам отвечал задумчиво: «Да, тебе-то, наверное, интересно, ты вон все книги у меня перечитал, будет из тебя „филозо́ф“», — и добродушно усмехался. Студентом я сохранил неравнодушие к истории старого города и даже мечтал со временем, став зрелым ученым, написать «Историю Шемахи». Во время каникул неизменно бродил по памятным с детства местам и, пользуясь приобретенными в университете знаниями, разбирал давние надписи. Увы, все они принадлежали уже новому и новейшему времени.

— Но вот в один из июльских дней этого, 1936 года... Игнатий Юлианович, я не мешаю вам смотреть рукопись?

— Не мешаете, — ответил Крачковский, продолжая медленно перелистывать принесенные мною тетради. — Я тут несколько углубился в текст... Итак, что же было в один из июльских дней?

— Я забрел в разрушенную мечеть в старой части города. Она выходит на три безлюдные улицы... Широкий двор, все заросло, зной, тишина. В углу двора — подвал. Спустился по каменным ступенькам, вижу — гробница под черным покрывалом, в нише горит лампа. Стало как-то не по себе: застань какой-нибудь фанатик-шиит неверного

у могилы святого, что будет? Конечно, я смог бы с чувством прочитать ему наизусть многое из Корана, потом сказать, что пришел почтить память усопшего... Ну, а все-таки всякое могло быть, фанатизм слеп. «Осквернитель!» — и все тут. Все же я остался и стал разбирать при свете лампы надписи на ритуальных медных чашечках. Все это было мне внове, я увлекся и позабыл, где и сколько времени нахожусь. Потом, уходя, случайно увидел в нише у двери какие-то бумаги. Это были две копии Корана, ничего особенного. А под ними — вот эти стихи в тетрадках, перевязанных накрест. Взял их домой, чтобы спокойно посмотреть. И вот... Не знаю, что вы скажете, Игнатий Юлианович, а меня они тянут, ведь это не суррогат, а стихи, правда? Они достойны критического научного издания, и я буду его готовить...

Крачковский поднял на меня глаза. Его губы сжались, и во взгляде мелькнул холодный блеск.

— С вами происходит примерно та же история, что с Ковалевским,[1] — сказал он. — Германист и украиновед, а захотел достичь наибольшего в арабистике. Одарен, ничего не скажешь, но я посоветовал: «Хотите, чтобы дело пошло на лад, — обе привязанности должны уступить место третьей». Нельзя объять необъятного, как сказал некий мудрец. Послушался, и разбор текста Ибн Фадлана пошел у него хорошо. Потом вдруг объявляет: «Я хотел бы еще заняться арабской астрономией, у нас есть превосходная рукопись автора X века ас-Суфи, Шьелруп не все в ней учел...». — «Андрей Петрович, — говорю ему, — работы над арабскими источниками по истории России вам хватит до конца ваших дней, а там занимайтесь чем хотите». Надо же уметь себя ограничивать, иначе откуда возьмется глубина исследования? Но Ковалевский — это уже готовый ученый, вы же пока студент, а главная обязанность студента, даже незаурядного — накапливать знания, в дело же вы их успешно пустите потом. Наука не терпит спешки. Притом, а вдруг до конца курса в университете вас найдет какая-то другая тема, не менее заманчивая, а ведь ей нужно будет отдать все! Погодите, не надо спешить, у вас еще все впереди. К делу издания такой рукописи следовало бы подойти лет через пятнадцать-двад-

---

[1] А. П. Ковалевский — историк-арабист. См. о нем в этой книге новеллу «Путь Ковалевского».

цать, когда вы приобретете достаточный опыт. Самому мне имя поэта — как его, Ширвани? Аррани? — как-то не приходилось слышать, хотя, конечно, век живи — век учись... То, что он мог реально существовать в Шемахе, при ширваншахах — несомненно, что у него могут встретиться истинные перлы поэзии — бесспорно. Все это весьма интересно, однако, повторяю, не спешите...

Я ждал немедленного одобрения моих планов, но раз так...«Вы правы, Игнатий Юлианович, спешить с этим нельзя, — думал я, идя из Института, — да и вряд ли возможно, если бы и было такое желание: знание драгоценных деталей, малоприметных тонкостей истории и филологии, без которых не идет ввысь здание ни одного исследования, приобретается годами. ...Но вчитываться в стихи Аррани я буду уже сейчас — вдумчиво, неторопливо и ежедневно. Чем бы ни пришлось заниматься, „Лепестки золотой розы" — так назвал ширванский поэт свой сборник — всегда будут рядом, постепенно раскрывая свой потаенный смысл и стремя к новым поискам. Откуда это решение? От интуиции, говорящей мне, что я обнаружил истинный документ древней Шемахи. Настанет день, когда с интуицией совпадет точное знание; тогда невозмутимый шейх будет потрясен».

* * *

Месяцы на рубеже 1936 и 1937 гг. были насыщены работой над сборником Аррани. Она не прекратилась и в ту пору, когда, на исходе четвертого курса, меня действительно нашла новая тема — лоции Ахмада ибн Маджида, исследование которых заложило фундамент для доктрины арабского мореплавания, вошедшей в науку тремя десятилетиями позже. Не стихотворная ли форма лоций притянула к себе мой взгляд, ежедневно склонявшийся над ширванскими поэмами? Рукопись с неизвестными сочинениями забытого лоцмана Васко да Гамы быстро вошла в мою жизнь, но я не находил в себе сил отказаться ради нее от рукописи Аррани, как уже не мог сделать и обратного. Постепенно две мои страсти совместились, одна из них стала поддерживать другую, словно два крыла выросли у меня за плечами. Чем это объяснить? Не тем ли, что в каждой из двух рукописей таилось откровение — это бывает редко — и оба высоких мира, столь

различных, но столь достойных друг друга, должны были, через мой труд, явиться людям как можно раньше?

Однажды в конце 1937 года, когда я делился с Крачковским своими наблюдениями в области арабской морской топонимики, он вдруг спросил:

— Скажите... Да-да, все это весьма любопытно, и я думаю, что выводы ваши, пожалуй, основательны, хотя, конечно, их надо проверить на значительно большем материале... Скажите, я вот что хотел узнать: как ваш поэт?

Целый год прошел после того единственного разговора об Аррани, а он, среди своих многочисленных дел, помнит! У меня радостно дрогнуло сердце, но, помня твердый совет моего наставника оставить рукопись в покое «до греческих календ», я сделал наивное лицо.

— Какой поэт, Игнатий Юлианович?

— Ну, какой, вы знаете и без меня. Увы, студиозус Шумовский не из тех, которые прислушиваются к благим советам. Вы конечно, продолжаете терзать себя над этой рукописью, раз ее отыскали.

Я покраснел и опустил глаза.

— Так интересно же, Игнатий Юлианович... Но вот переводов пока читать нельзя, они не обработаны... А судьба Аррани, как можно видеть по его стихам, — других свидетельств нет, я переискал всюду! — его судьба необычайно яркая, такие взлеты и падения... будто у корабля в океанской буре. Мальчиком он пришел из Аррана — это область в низовьях Куры, я там был, когда мы, школьники, ездили убирать хлопок в совхозе «Ка́ра Чала́»... Там ровная степь, болота, чайные и рисовые плантации... Есть даже город на воде, как Венеция... Вода желтая, спокойная, ил, песок... Все не так, как в горной Шемахе, к северу от Куры... Он пришел из Аррана в Шемаху, «гнездо орлов и поэтов»... Здесь в разное время творили многие — великий Хагани, Абу ль-Уля, Гаджи Ширвани, Сеид Азим Ширвани, Ширванзаде, даже в нашем веке знаменитый Сабир... В этом гнезде у Аррани выросли крылья. Утонченный лирик был введен под кров дворца для услаждения ушей ширваншаха. Прекрасная Илен подарила ему свою любовь, и его стихи засветились теплыми красками, в них заструился трепет живой натуры. Илен умерла совсем юной. С этого дня поэзию блистательного царедворца начинает сжигать мрачный

пламень. Годы тоже берут свое, он все чаще предается раздумьям — уже не яростным чувствам, а сумрачным раздумьям о смысле жизни, о неотвратимости ее конца, о назначении поэта. Темным настороженным взглядом он озирается вокруг — повсюду несправедливость, блеск и пустота вельмож, нужда и тайные вздохи обойденных счастьем в жизни... Сами собой начинают складываться эпиграммы. Язвительный ум стяжает растущую ненависть недавних покровителей таланта. Шах потешается над вельможами, которых высек поэт. Но вдруг ему показывают уничтожающие стихи Аррани по его адресу. Тогда, вне себя, он велит сжечь перед связанным Аррани все написанное поэтом за всю жизнь, а затем бросить неблагодарного в подземную темницу. К счастью, Игнатий Юлианович, одной копии — вероятно, единственной — всего Аррани шахские стражники не доискались, и вот она перед нами, в Ленинграде!

— Аррани там и погиб, в темнице, об этом что-нибудь сказано? — спросил Крачковский.

— Он пробыл в темнице сколько-то лет, это еще неясно. Есть у него цикл под названием «аз-Зинданийят» — «Узницы», можно так перевести? По-видимому, это стихи, созданные в темнице? Потом шах его освободил, ведь Аррани был когда-то украшением дворца, и теперь, поумнев за годы заточения, он мог бы еще лучше исполнять эту роль. Но Аррани отпросился на богомолье в Мекку и долго скитался по свету, не желая возвращаться в столицу Ширвана, отнявшую у него лучшее, что он имел. И все же, уже совсем старым, вернулся, ибо она и дала ему лучшее, что он имел в жизни, — сердце поэта и любовь Илен. Ну, и вот потом его следы теряются, неизвестно, в каком точно году он умер, какую строку создал последней...

— Будем надеяться, что все это когда-нибудь прояснится — сказал Игнатий Юлианович. — Только еще раз говорю: не спешите. Это ведь, как операция на глазу: одно резкое движение — и все пропало. Чтобы вернуть глазу, то есть вашему поэту, жизнь, нужно научиться хорошо владеть скальпелем.

* * *

С тех пор прошло тридцать пять лет. Это были трудные годы, когда мой арабистический путь не раз скользил над бездной. В течение их, занятый разнообразными де-

лами, полный всяких переживаний, я строку за строкой, как мог, чистил свои переводы из Аррани. И лишь теперь, когда, как мне кажется, удалось приблизиться к глубинам души этого поэта, я бы решился показать свои опыты Игнатию Юлиановичу. Но его давно нет среди нас. Пусть же несколько «лепестков золотой розы», к которым мы подошли, лягут в лоно памяти о нем.

* * *

Ниже приведена небольшая доля творческого наследия Аррани. Внутри ее произведена классификация по разделам: «Поэт», «Илен», «Стрелы» и «Раздумья». Этих разделов нет в сборнике ширванского стихотворца и не могло быть, поскольку творящая натура — это прежде всего живой человек, откликающийся своим творчеством на внешние впечатления данного часа своей жизни или же на личные воспоминания о том либо ином пережитом событии. Только что он наслаждался общением с любимой — и его сердце поет о великом таинстве и светлом откровении любви; часом позже, вступая в сумрачное великолепие шахского дворца, он, чуткий и напряженный, словно осязаемые ощущает на себе позолоченные длани окостеневшего на живом, и, содрогаясь от боли, строптивой мыслью переливает эту боль в строки утонченного сарказма; покинув дворец, он долго бродит по дорогам столицы, погруженный в думы о драмах, из века в век разыгрывающихся на сцене истории, о борьбе желаний, о сути человеческой жизни. Возбужденный мозг, понемногу успокаиваясь, устремляет свой взор в глубь кладезя опыта, в недра памяти, потемневшее сердце светлеет и начинает биться ровнее, мысль уходит далеко за пределы дворца, столицы, страны, за рубежи дня и века. Так рождаются раздумья обо всем, рядом с которыми естественно возникают раздумья о себе, о своем назначении, о своих тревогах и блаженствах. Эта последовательность, конечно, условна, элементы схемы могли свободно меняться и, несомненно, менялись местами в цепи переживаний поэта. Это естественно, поэтому живое творчество, опирающееся на вдохновение, бессистемно. Однако я исходил из желания представить разносторонность поэзии Аррани более выпукло, чем это возможно при диффузном воспроизведении сборника. Так появились названные выше разделы, где ото-

бранные образцы, как мне кажется, более или менее удачно оттеняют разные грани творчества средневекового гуманиста.

Поэт

Чтоб голода не было в мире и жажды,
Ты, солнце, над миром взойдешь не однажды.
Ты реки растопишь, поднимешь сады,
Живительной влагой наполнишь плоды.

С тобой поколеньям легко и привольно.
Но мысли однажды подняться довольно
Над миром, поэта покинув чело,
И всем поколеньям светло и тепло.

*

Я лишь сосуд для моего стиха.
Я грудь для сердца — моего стиха.
Ведь он мне — жизнь, а я ему — оправа.
Я лишь посильщик моего стиха.

Себя он мне развертывает свитком,
Я только голос моего стиха.
Во мне он дремлет драгоценным слитком,
Я лишь гранильщик моего стиха.

Во мне он бьется беспокойным телом,
Я два крыла для моего стиха.
Умру, когда в жилище опустелом
Умолкнет шум, угаснет свет стиха.

Но, может быть, мой донесется голос
К другим векам, и новый муж стиха
Вспоит своих поэм упругий колос
Живой водою моего стиха.

*

Стяжатели — не осуждаю их:
Мы все — гонцы при жребиях своих.
За золото глупцы роднятся с адом;
Мне золота, пропитанного смрадом,
Дороже мой благоуханный стих.

*

Тяжелый шаг меня топтавших дней
Для выжившего тела все больней.
Зеленые побеги поздней страсти
И черный след костров в душе моей.

*

Я жизнь люблю. А, может быть, она
Без памяти в меня, поэта, влюблена
За то, что, смертный червь, бессмертное творю?
Она ль мне дарит стих? Иль я ей стих дарю?

*

Приснилось мне как-то — умер внезапно как будто я.
Вздохнул облегченно некто, вздохнули в тоске друзья.
Мулла надо мною скорбно читал нараспев «Я-син».[2]
«Твоя! — мне шептала страстно могила, — навек твоя!»
Но вдруг я восстал из гроба, шагнул от могилы я,
И в страхе бросились опрометью недруги и друзья.
Я рек: «Аррани, не нужен пока для тебя „Я-син":
Так мало еще ты сделал! Так жатва бедна твоя!»

*

Ученый за столом в раздумьи морщит бровь,
Поэт вливает в стих свою живую кровь.
Ученым для трудов нужны покой и книги,
Поэтам для стихов — тревога и любовь.

*

Когда мне больно, черных слез не лью,
Зову я юность трудную свою.
Из кубка памяти вино воспоминаний,
Светлея, пью.

*

Я жалкий смертный человек — и только.
Я раб заносчивых калек — и только.
О, если б я умел творить стихи!
Нет, я стихи пишу — и только.

*

Кто не знал пустых тревог,
Кто в толпе себя сберег
— Счастлив, кто меж петухами
Соловьем остаться смог.

*

По воле бога всех веков и стран
Пророком нам великий свиток дан.
Но раз и мне мой стих дарован богом,
То ведь и я открыл сердцам Коран.

---

[2] Погребальная глава (сура) Корана.

То есть, подобно тому, как аллах внушил Мухаммаду (Магомету) текст Корана (буквально «Чтения»), составленный в рифмованной прозе, так и поэту он внушил другое «Чтение» в виде сборника его стихов. Эта святотатственная, но логичная мысль, в известной мере предрекающая рационализм европейских гуманистов, не случайна в творчестве Аррани, последовательного в своем критическом отношении к традиционным канонам мышления его эпохи. Ниже можно найти еще ряд стихотворений, давших недругам возможность обвинить поэта в безбожии и оправдать этим его заточение («Как хорошо в раю сынам Али», «Боже миров, ропот прости Аррани», «Говорят „ар-рахман“...», «У Одного ужель достанет сил» и др.).

Когда из сердца рвется буйный стих,
Я не хочу, чтоб он в надгробьях стих.
Не в саване, а в розовых одеждах,
Хочу, чтоб он воспламенял живых.

*

Ты мысли расточай, а слово береги.
Улыбки расточай, а чувства береги.
Ты годы расточай для игр и праздных шуток,
А дни, когда творишь, от шуток береги.

*

Уходят за днями дни, а в сердце моем темно,
Долго оно тоскует, томится оно давно.
В сердце поэта темень бывает чернее ночи,
Ибо порой сверкает солнца светлей оно.

*

Не приходи к могиле Аррани:
Что ты найдешь в кладбищенской сени?
Не ум, не кровь, а горсть костей поэта!
Нет, стих его найди и оцени.

*

Когда заболеешь печалью, в унылые дни,
Ты к чаше, где снадобье я приготовил, прильни.
Но лишь исцелившийся медом звучаний и мысли
Скажи, что действительно был на земле Аррани.

*

Когда стеной несется ливень к покорным пастбищам земли,
За бурей вслед покоя жажду земную, солнце, утоли.
Когда к встревоженному сердцу несутся молнии и громы,
Ты, радость, пастбища смятенья лучом покоя опали.

*

Откуда свет в моей душе? Не знаю.
Когда впервые он пришел? Не знаю.
Каков закон сложения стихов?
Как научить поэзии? Не знаю.

Легко ли читаются предложенные образцы? Достаточно ли они проникновенны? Об этом переводчику следует постоянно думать. В книге «У моря арабистики» я старался подробно изложить мысли, руководившие мной при работе над произведениями Аррани. Главная из них: цель перевода может считаться достигнутой, когда он вызывает в душе те же переживания, что и подлинник. Снятие пресловутой «специфики» формы способствует прояснению общечеловеческого смысла содержания. Когда бережно сохраняемое национальное своеобразие не переходит в национальную ограниченность, свершение иноземной литературы становится достоянием не одного лишь ума, но и сердца русского читателя и вливается в лоно всемирной культуры. Практически это осуществляется точной передачей содержания средствами гармоничной русской формы, заключающей в себе лаконичность емких слов, музыкальность их соотношений, чистые рифмы. Конечно, соблюдение этих условий требует многих лет взыскательного труда.

Илен

Нет, не одно — два солнца в этом мире,
Два солнца в небесах глядящих в сердце глаз,
И чем доверчивость их раскрывает шире,
Тем больше я стыжусь моих былых проказ.

Илен! Ты не кляни того, что было прежде:
Кого б я ни ласкал, в чьи б ни глядел черты,
Ища тебя одну в томленьи и надежде,
Я думал всякий раз, что это ты.

*

И робок я и легковерен был,
Тоска и страсть меня лишали сил.
И слава богу: значит, был безумен,
И значит, я действительно любил.

*

Не о себе я слезы лью
И не о тех, кто пал в бою.
Скорблю о тех, кто не любивши
Напрасно прожил жизнь свою.

*

Кто не любил и кто любимым не был,
Тому скажи, не пряча укоризн:
«Гори в аду за стыд земли и неба,
Тебе для страсти подаривших жизнь!»

*

У Илен по ночам полыхают уста
Жизнью,
И струится, и плещет ее красота
Жизнью,
И вздымает ей грудь жаркой кровью весна,
и трепещет в глазах золотая волна,
Чаша тела Илен до краев налита
Жизнью.

*

Не смейте плохо думать об Илен!
Вы недостойны думать об Илен,
Завистники, ревнивицы и сводни!
Достоин я! Но я люблю Илен.

*

Над Шемахой простерлась тишина,
Душа тоской и нежностью полна.
Созвездья, как рассыпанные деньги,
Неспящим глазом сторожит луна.

Сказали мне: «Ты дожил до седин,
Разумен будь. Как добрый семьянин,
Люби семью, цени покой и деньги.
Живи, как все. Ты в мире не один».
Невольник дел обыденных моих,
Да, я — как все, когда свершаю их.
Но я — один, когда, уйдя от мира,
Полузакрыв глаза, чеканю стих,

Но я — один, когда, забыв семью,
Приникну к той, которую люблю,
В ком для меня все утешенья мира,
Кому на грудь я слезы счастья лью.

*

Ум не советчик нам в любви,
Но будь разборчивым в любви.
Стыдись, когда тебя не любят
Достойные твоей любви.

*

Виноградная гроздь, осененная первым пушком,
Соловьиная песня над первым весенним цветком,
Серебристые капли ночной ароматной росы —
Это все о тебе говорит мне своим языком.

*

«К тебе, которой день и ночь молюсь,
Без разрешенья я не прикоснусь!»
Красавица подумала с досадой:
«Иль евнух ты или глупец, клянусь».

*

Я рассудка и слова в любовных делах не терплю.
Мне красавица — книга, где буквы я сердцем ловлю:
Я в румянце, во вздохе, во взгляде ее и улыбке
Без ошибки прочту долгожданное слово «люблю».

*

Когда двоих сближаются уста,
Плетут венок у алой розы рта
Вино и мед, желанье и покорность,
Огонь и вихрь, порыв и красота.

*

Весны мои, песни твои — где?
Алость крови, ярость любви — где?
Иглы речей, игры ночей, встреч и разлук пестрый ручей,
Мускулов сталь, сердца хрусталь — где?

*

Не вздох, а песня — память о тебе.
Не мрак, а солнце — память о тебе.
Не монастырь ума, а море сердца,
Не мысль, а чувство — память о тебе.

Прием эмоциональной обработки стиха через употребление повторяющегося реторического вопроса либо другой формы весьма распространен в арабской поэзии.

За два века до Аррани в известной элегии Абу ль-Бака Салиха Рондского, оплакивающей агонию власти арабов на Пиренеях, горестное «где?» встречается на протяжении 14 стихов девять раз; пример: «Спроси Валенсию, что с Мурсией случилось? Где Шатива? Куда исчез Хаэн?» («айна джайййяну», буквально: «где Хаэн?»). Такая фигура стиля восходит к античной древности с ее знаменитым мотивом: Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere (Где те, кто были в мире до нас?). Еще в доисламской Аравии одно стихотворение поэта Мухальхиля пятьдесят раз пользуется формой «словно».

Восходы стыдливым румянцем зови
Услышавшей первое слово любви.
Румянцем при вести о первой измене
Тяжелые краски закатов зови.

*

Любовь бессмертна. Огненная кровь
Ее в живых рождает вновь и вновь.
Она — венец стальным и чистым душам:
Чем круче жизнь, тем сладостней любовь.

*

Кого стыдишься ты? Меня? Но я — ведь это ты!
Я отражение твое и тень — почувствуй ты!
Я отблеск роз твоей весны, отсвет заветных дум,
Я отзвук сердца твоего — зачем стыдишься ты?

*

Ты оставила юности нежный и огненный взгляд,
Ароматного тела налившийся свежестью сад.
Почему не вернешься за ними? Растащат девчонки!
Неужели так скоро забыла дорогу назад?

*

Две половинки губ — не так ли мы неразлучны? Вот кто мы.
Мы два зрачка, два чутких уха, пупок и копчик — вот кто мы.
Две обнимающих руки и два бедра, кипящих страстью,
Два розовых куста и пчелы сосков на каждом — вот кто мы.

*

Возьми мои страсти — а думы оставь.
Возьми мое сердце — а разум оставь.
И чтоб до конца уж делиться по-братски:
Возьми мою жизнь — а бессмертье оставь.

*

Пыланием губ расскажи о любви
И дерзостью рук расскажи о любви.
Блаженным безумием буйного тела
И — памятью сердца скажи о любви.

*

Полузакрыв глаза, прильни, подруга,
Дай захлебнуться в губ твоих вине!
Мы через губы изопьем друг друга,
Я растворюсь в тебе и ты во мне.

Эти гедонистические мотивы, с большей полнотой представленные в уже упоминавшейся книге «У моря арабистики», сообщают лирике Аррани яркость и полнокровность, передача которых на другом языке подчеркнуто требует выразительного и свободно льющегося стиха, воспроизводящего фактуру подлинника.

*

«Люблю!» и «любим!» Онемей, Аррани,
И эти два слова в себе огляни.
Как солнце в темнице, венец на царице,
Как небо в зарнице сияют они.

*

И мрак, и буря на лице твоем,
И пламень молний на лице твоем.
Я голову склонил, мы помирились.
И дождь, и солнце на лице твоем.

Негаданно счастье рухнуло.

...Илен,
Двадцатой весны ароматом полна,
Навеки легла у кладбищенских стен.

В лирику Аррани вливается новая, темная струя, не уходящая из его творчества до конца жизни.

Я хожу и твержу: умерла. Умерла. Умерла.
Ибо розу — тебя бестелесная тень сорвала
И рассвета роса не умчалась к полдневному солнцу,
А с твоих лепестков, как слезинка с ресницы, стекла.

*

Зачем любовь и счастье для чего,
Коль время — недруг всех и враг всего?
Любви и счастья утренняя роза
Звездой упала с неба моего.

*

Целую жизнь мы искали друг друга. За ней
Ныне нам общий воздвигнут с тобой мавзолей
Запах земли и холодные желтые кости —
Вот что осталось от страсти твоей и моей.

*

Не стало тебя. А я горестных слез не лью,
И не вздыхаю и — утешительных вин не пью.
Я розы моих стихов слагаю к твоим ногам.
Их лепестки таят боль и тоску мою.

*

В лесу жила счастливая газель.
Любила жизнь и милого газель.
Раздался гром и молния сверкнула,
Влетела в лес — и рухнула газель.

*

Глянул вслед — и оглянулась. Неужели это правда?
Подошел — и улыбнулась. Неужели это правда?
Ожидала, обжигала, освежала — и нежданно
В смертный саван завернулась. Неужели это правда?

*

Я с тела твоего губами рвал цветы.
Теперь, давно седой невольник нищеты,
Целую тихо камни, по которым
Ходила ты.

*

Нет, не могила твоя — это ложе встречает меня,
Ложе несытой любви для тебя и меня.
С воплями страсти мешаю свои поцелуи.
Здравствуй, Илен, дорогая! Ты слышишь меня?

*

День, как и ты, засыпает. Но лишь
Смежит ресницы вечерняя тишь,
В чреве ее зарождается утро.
Где ж твое утро? Что долго так спишь?

*

Я слушаю полдень. Но легких шагов не слышно.
Я слушаю полночь. Но вздохов любви не слышно.
Безумец, чего ожидаю в полудень и в полночь?
Ведь в мире тебя никогда уж не будет слышно!

*

За медленным чаем из жарких стаканцев
Чего не услышишь от наших ширванцев!
В шатре пастухов, не в дворцовом покое,
Однажды я слышал преданье такое:

Поэт, обманувши придворные власти,
Прокрался к любимой наложнице шаха,
И сердце его разорвалось от страсти,
А сердце ее — от истомы и страха.

Два сердца швырнули на выжженный камень,
Они там дымились и медленно стыли.
А дикие звери со злыми зрачками
Не смели их тронуть и жалобно выли.

А нищий бродяга, на встречных людей
Косясь настороженным взглядом,
Два сердца в земле упокоил, и в ней
Навеки легли они рядом.

Стрелы

Сатирическая поэзия Аррани ярко показывает идейные умонастроения этого утонченного лирика, обнаруживает общественную значимость его творчества. Это не последовательный практик — ниспровергатель основ, однако всей своей мятущейся душой он жаждет одного: справедливости в обществе. Его гнетет социальная кривда государства ширваншахов — богатство лживых и косных вельмож и нужда честных тружеников, преступления и страдания, но лишь под пером отточенного сарказма разрешаются его чувства. Инвективы Аррани против беспринципного стяжательства заставляют вспомнить известное послание Горация Меценату (сатира «Тантал»), переведенное одним из корифеев русского стиха в XVIII веке И. С. Барковым. В каждой из «стрел» живой ум ширванского поэта блещет новой гранью:

Глаз любопытных, глубоких вздохов ловец,
Скажи мне, Ку́нфуд, скольким ты детям отец?
Пришел твой час, о, сотрясатель сердец:
Султан тебя оскопил, наконец.

Я не о том, о чем подумает мир,
Я вот о чем: узду смиренья сорвав,
Родил ты много остроязыких сатир,
А ныне умер, вельможею став.

*

Мехменда́р... Пред ним дворцы открыты.
Он из тех, кто нынче знамениты,
Не чета чиновной мелюзге.
Многое и многие забыты
Старому усердному слуге.

*

Спаси меня, творец моей души,
Ответь уму, сомненья разреши.
Поэт, конечно, не достоин рая,
Но уж и ада ты его лиши.

*

Руку поднять на шаха?!... Лишь подними глаза,
Как на смертного смертный — все завопят: «нельзя!».
Значит, учись прилежно искусству канатоходца,
Чтоб не упасть в темницу, годы над ней скользя.

*

Вельможи все законы знают, за исключеньем одного —
Что не останется в грядущем от их законов ничего.

*

«Коситься на шаха, томиться от страха,
Творить — и таиться, скажи, для чего?
Воспой, Аррани, жемчуга ширваншаха,
И щедрость, и мудрость, и славу его.

Тебя он поднимет из бездны и праха,
Ты жребия станешь творцом своего,
Воссядешь меж первых советников шаха
Усладой для слуха и сердца его».

Не слушай трусливых и низких советов,
Беги, Аррани, от дворцовых дверей:
Цари никогда не любили поэтов,
Поэты всегда презирали царей.

*

Награды от людей беру я, шах,
С холодною усмешкою в глазах,
Хоть снова суй мне в руки их и снова:
Никто не награждает, как аллах,
Мне даровавший жизнь и силу слова.

*

«Ты бежишь на пожар? Или сын умирает? Подруга
Ждет тебя у ручья? Или друг с караваном пришел?
Ты от страсти дрожишь ли, трепещешь ли ты от испуга?
Изопьешь ли ты благо? Иль рухнешь под стрелами зол?»

Что сказать любопытным прохожим на праздные речи?
Не понять в этом царстве ни другу, ни злому врагу,
Что бегу из дворца, ничего не накинув на плечи,
Что от золота лжи и от пурпура казней бегу.

*

Я не из тех, кто не знакомы с честью.
Законам нашим слуги и отцы
Приобретают силою и лестью
К стадам стада и ко дворцам дворцы.

Я — мусульманин. Тот, кем славен Ха́шим,[3]
Изрек от бога то, что молвлю я:
«Не поклоняюсь идолам я вашим,
Вам — ваша вера, а уж мне — моя».[4]

*

Не «ах-ах-ах!», а лучше: «ха-ха-ха!»
К отчаянию Шемаха глуха.
Я не о смерти думаю — о жизни,
Нет, не своей, а своего стиха.

*

Грядущее у каждого туманно.
Не только в этом, впрочем, люди схожи:
Все умирают — узники, вельможи
И даже сами шахи, как ни странно.

*

В бубен ударь, да посильней, Газанфа́р!
Рвет лепестки с дочки твоей, Газанфа́р,

---

[3] Т. е. основатель ислама Мухаммад, происходивший из рода Ха́шим мекканского племени Кура́йш.

[4] Коран, сура 109 — «Неверные».

Праведный шах. Но ты не плачь, веселись:
Все оборвет — дочку вернет, Газанфáр!

*

«Жена — с другим! ..» Как ты кричишь, Джахангúр...
Ты нелюбим — кто ж виноват, Джахангúр?
Ходи туда, ходи сюда, весь в рогах,
Ищи суда, коль нет стыда, Джахангúр!

*

Ткач-судьба неистощима в тонко сотканном коварстве,
Золотые дни поэта задыхаются в мытарстве.
Что дивиться? Не поэты, стражи совести и чести,
Палачи и краснобаи всех нужней в ширванском царстве.

*

Телохранителей у шаха не перечесть
И не одна в Ширване плаха у шаха есть.
Кто не согласен, тот опасен. О, жалкий шах!
Нет, не от силы, а от страха родится месть.

*

Если ты с ложью в обнимку идешь,
Бедный безумец, ты с ней пропадешь:
Слабого сильным, но сильного слабым
Делает ложь.

*

Как хорошо в раю сынам Алú! [5]
Безвольный пленник радостей земли,
Я, Аррани, таких блаженств не стóю,
Как мирных вод не стóят корабли.

*

Боже миров, ропот прости Аррани!
Трупы молчат — в труп обрати Аррани!
Эй, придержи мысль и язык, нечестивец!
С богом живых так не шути, Аррани.

*

К чему вы, звезды слез и ночь в моих глазах?
Ведь я еще живу! Ведь я еще не прах,

---

[5] «Сыны Али» — последователи Али ибн Абу Талиба, зятя Мухаммада (см. выше), четвертого халифа (656—661 гг.), составляющие одну из двух главных сект ислама — шиитскую. Они населяли Иран и Ширван.

Я многое еще сказать успею миру,
Хотя бы жгли враги мой стих на ста кострах!

*

Грустен я был и попросил: «Зульфуга́р,
Произнеси мне афоризм, Зульфуга́р!»
«Шах — справедлив» — ты отвечал без улыбки.
Как ты меня вдруг рассмешил, Зульфуга́р!

*

Ты над ребенком не спала ночей.
Теперь в темнице, в ранах от цепей,
И рвется он, и плачет беззащитно
В руках змеей рожденных палачей.

*

«Твоей головы властелин желает, эй, Аррани!»
— «Все в божьих руках! Но чем провинился так Аррани?»
— «Да нет! Не для казни тебя он хочет, а для стихов!»
— «Но это по сути одно и то же для Аррани».

*

Петухов у нас не сосчитать.
Как поют! Какая благодать!
Петухи в Ширване голосисты,
Соловьев за ними не слыхать.

*

Орел парит... И глазом чуть видать,
И никаким арканом не достать.
Он еретик! Казни его, владыка!
Как смеет он так высоко летать?

*

Костер, где соловья сжигали петухи,
Костер, пожравший все мои стихи —
Я хорошо тебя запомнил,
Подарок шаха Шемахи.

*

Аррани умен и беден — этого довольно вам.
Он не золотом клянется — этого довольно вам.
И не тем, во что не верит, и не тем, чего не стоит,
Он своей клянется честью — этого довольно вам.

*

То, чем хотели б зваться золото и шелка,
То, что дворцы обходит, как острова река, —
Честь ведь на самом деле — шелк для хозяев рубищ,
Честь ведь на самом деле — золото бедняка.

*

Гонец от шаха кличет во дворец.
Чего я там не видел, о, творец?
Ну что ж, пускай сопутствует удача
Тому, кто не доносчик и не льстец.

Гонец от шаха гонит во дворец
Одну из верноподданных овец,
И я иду, подальше ярость пряча:
Ведь шах — всему начало и конец.

*

Мечи возмездья никогда не ржавы,
Неточный ход — и ты кровавый ком.
В степи зарыт ужасный враг державы,
Подумать страх, что говорят о нем:

Он проникал в султанские гаремы,
Срывал там дерзко розы и бутоны!
Он кончил тем, чем кончить можем все мы:
Казнен за то, что попирал... законы.

Раздумья

Не изойти нам из смерти сетей,
Ни мудрецу, ни глупцу, никому.
Но одного я никак не пойму:
Зачем на смерть мы рождаем детей?

Зачем прильнувших доверчиво к нам
Мы обрекли на съеденье червям,
Мы, им для жизни зажегшие кровь,
Им подарившие мысль и любовь?

О, эта жизнь, остывающий жар!
О, этой жизни отравленный дар!

*

Кто равнодушен к деньгам? Только смерть.
Кто на земле всесилен? Только смерть —
У ней в ногах валяются владыки!
Кто на земле бессмертен? Только смерть.

Это стихотворение перекликается со словами Муслихаддина Саади (1203—1292), воспетого Пушкиным: «Я смог развязать все узлы, кроме узла смерти».

*

Говорят: «ар-рахман». Говорят: «ар-рахим».[6]
Те, кто добр, почему ж не поддержаны Им?
Он, кто мудр, почему защищает глупцов?
Кто умен и кто честен — за что же гоним?

*

Я жизнь любил за то, что мысли она дарила щедро мне.
Сквозь них мне мир другим являлся, и пламенел я, как в огне.
Мой мозг устал, остыло сердце, ко мне стучится час последний,
И расставаться с жизнью жаль мне не так, как смертным, а вдвойне.

*

Ты по пустыне жизни годы бредешь, деяний пыль глотая,
И вдруг застынешь, обнаружив, что жизни суть совсем не в этом.
Глядишь в глаза великой мысли, и человека жизнь пустая
Вдруг разрешится тайным смыслом и заиграет новым светом.

*

Жизнь коротка и жизнь одна у нас.
Как странно все! К чему ж нам пламень глаз
И в ночь любви и в день кровавой битвы,
Чтó шум пиров и вдохновенья час?

Нет, божью мудрость восхвали усердно:
Пред сенью погребальных покрывал
Творец земли и неба милосердно
Нам страсть и память в утешенье дал.

*

Как первый росток, берегите любовь!
Как хрупкий цветок, берегите любовь!
От глаза холодного, рук равнодушных
Хирурга-ума берегите любовь!

*

Зеленое, как сад, лицо у моря. Но
То желтым, словно мед, то красным, как вино,

---

[6] Ар-рахма́н («Милостивый»), ар-рахи́м («Милосердный») — эпитеты бога (аллаха), начинающие каждую главу Корана.

То черным, будто смерч, взлетающий в пустыне,
В часы тревог и сна мне видится оно.

*

Когда под пламенем восхода трепещет розовое море
И в страхе лишь тугие волны до горизонта видят люди,
Ты скажешь: словно бы на ложах красавиц розовые груди
Вздымает страсть биеньем сердца, приподнимает вздохом горе.

*

Зелено-синью отекло
Небес хрустальное стекло.
День, умирая, опускает
Янтарно-алое крыло.

*

«Любили женщины меня — но что мне из того,
Коль друга нет на склоне лет со мной ни одного?
Я роздал женщинам себя. Как из глазницы глаз,
Так юность вытекла навек из тела моего».

Я не скажу, как тот поэт. Не знал я многих перемен.
Ты у меня была одна, и ты всегда со мной, Илен.

*

У жизни дно, как у бокала дно.
Что наша жизнь? Лукавое вино:
Хмельной расцвет — и горькое похмелье
На склоне лет приносит нам оно.

*

Уходит жизнь. А сделанного мало,
А сделанного нет.
Но сердце раскаленное устало
И в мыслях гаснет свет.

Пытался до конца познать я все, что видел,
А стал и зол и сир.
Да! Слишком я любил и слишком ненавидел
Наш бедный мир.

*

Огонь угасает. А дым
Уныло тоскует над ним.
У жизни мы днем насладимся,
А вечер оставим другим.

*

Нужда и лесть согнули сколько спин!
Кто лучше лгал — тот им и господин.
Где ж за руку схватить всех сильных мира?
Иль не известно нам, что бог один?

*

У Одного ужель достанет сил
Водить стада бесчисленных светил?
Прости мне мысли грешные, о, боже!
Но разве нам ты думать запретил?

*

Грузия! В райском саду так назывался луг.
«Людям его подари!» — к богу взмолился Друг.
Вняв Аврааму, луг выронил бог на землю.
Мне бы там побывать! Да всю жизнь недосуг.

*

Кровь обжигает сердце темным и злым огнем.
Завтра с разлуки встречусь жданным и тяжким днем.
Глаз отвращу и память я от Ширвана завтра.
Только забудет скоро ль сердце мое о нем?

*

Для поруганья бога детей растит земля:
Топор вопьется в руки, их на куски деля,
В глаза вонзится пламень отточенного шила,
А эту шейку сдавит султанская петля.

*

Всю жизнь я сеял радость, видит бог.
О, урожай когда б собрать я мог!
Нет, сеял лишь, а соберут другие:
Уходит поле жизни из-под ног.

*

Ничтожность по запаху скуки и зла узнавай,
По пестрым шелкам и обильным словам узнавай.
По бедной одежде и вечному золоту мыслей
Души благородство и разума блеск узнавай.

*

Как верблюды в караване, год за годом в даль ушли.
Что ты видел в этой жизни и вчера и в той дали?

Ты склоняйся жадным телом и тоскующей душою
К мимолетным редким гостьям — скудным радостям земли.

*

Мы во дворцах рабы, мы там косноязычны
Не потому ль, что там мы ко всему привычны?
Природа и любовь милы нам тем, что в каждой
Встает за гранью грань и все они различны.

*

О, если б не знать закатов земле и беречь восход!
Он делит с любовью свежесть, и пурпур ее, и мед.
Но день, трепеща, как жертва, свергается в пасть заката
И в пасти могил уходят из жизни за годом год.

*

Совершили что́ мы в жизни, дети грешные земли?
Пошумели, потолкались, погордились — и ушли.

Двустишия у Аррани редки. В данном случае философский характер высказывания сближает его с Дионисием Катоном, оставившим ряд нравоучительных двустрочных стихотворений («Никого не винить безрассудно», «С дураками и бог не волен», «Повторенное обещание скучно» и др., есть русский перевод И. Баркова).

*

Герой стяжает зависть мира. Он именит и знаменит.
«Герой взошел к зениту славы!» — толпа восторженно кричит.
Но долговременно и солнцу не удержать себя в зените,
Зачем же тешит человека недолговременный зенит?

*

Вздымается жизнь из жизни, но смерть попирает жизнь.
Глаза за глазами гасит — но снова восходит жизнь.
И то, что потоки жизни всегда по земле струятся,
Моим говорит раздумьям, что смерти сильнее жизнь.

*

Сильнее жизнь или сильнее смерть?
Живой под землю загоняет смерть.
Обитель жизни — над жилищем смерти.
Пятою жизни попираем смерть.

*

Рекой без дна текли у древних мысли.
Ручью ума вместить ли эти мысли?
Мелеют реки и мельчают люди,
Вброд перейдешь теперешние мысли.

*

«Смешна бывает мне голодной страсти дрожь:
На ложе третья тень меж двух бессмертна — ложь.
Ты с женщины сорвешь тяжелые одежды,
Но с тайных дум ее тончайшей не сорвешь».

О женщине мне кто промолвил те слова?
Илен! Одна она была не такова.

*

«Давно я перестал желания копить:
Свершения теперь не медлю я купить.
Скольких я женщин знал! И знаю! А не помню,
Когда в последний раз мне довелось любить».

Любовь — не знает он, кто хвастался сейчас —
Не только веселит, но очищает нас.
Глупцу, который зря растрачивает пыл,
Скажи, что в жизни он ни разу не любил.

*

Бывает, человек уж прожил много,
А в нем еще тревожно бьется сердце.
Но если он не знает разделенной
Любви, то мертв. И возвратится к жизни
Лишь тот, кого желанная полюбит.
Такой ступени лет проходит снова:
Он легкомыслен от любви, как мальчик,
Безумен в ней и вспаиваем ею;
Потом, созревший муж, ценитель тонкий,
Он насладится огненною страстью
Трепещущей и распаленной девы
И будет пить неспешными глотками
Вино утех и торжество победы.
Но, наконец, наскучив обладаньем,
Пресыщенный, в часы тоски растущей,
Он чувствует: крадется к сердцу старость,
Ужасный проводник на плаху смерти.
Вторая жизнь подарена любовью!
И если он любил, не забавлялся,
То третьей нет...

Здесь представлена небольшая часть наследия Аррани, рисующая общую, но, конечно, неполную картину его творчества. Если когда-нибудь осуществится сводное издание, то история всемирной поэзии пополнится еще одним ярким именем.

ПУТЬ КОВАЛЕВСКОГО

Академик Игнатий Юлианович Крачковский, чьей мыслью в 1930 году основался Арабский кабинет Института востоковедения Академии наук СССР, был зорок — он хорошо знал, кто чего стоит, и соответственно расставлял научные силы. Spiritus movens[1] нашей арабистики на протяжении первых трех советских десятилетий ее развития, он не позволял личным симпатиям и антипатиям подавлять интересы науки, а с другой стороны — сам являлся живым образцом трудолюбия, целеустремленности и моральной высоты. Поэтому с его временем связано большинство серьезных свершений в области изучения нами прошлой и современной арабской культуры. Только такой ученый — с наибольшими знаниями, жизненным опытом и тактом, — чье руководство было неоспоримо фактически и морально и приносило максимальную пользу общему делу, был достоин возглавлять арабистический центр страны, и Крачковский принял на себя полную меру ответственности. Он искал и пестовал энтузиастов, которых нужно было сплотить вокруг идеи создания принципиально самостоятельной школы советской арабистики. И рядом со своим ближайшим помощником в новом учреждении, первостроителем Арабского кабинета Я. С. Виленчиком — автором уникального словаря сиро-палестинского диалекта, — ставил Андрея Петровича Ковалевского, пришедшего в Кабинет несколько позже. Виленчик и Ковалевский — два самых талантливых и квалифицированных сотрудника, костяк нового дела, — пишет он дирекции Института востоковедения в отчете о работе Кабинета за 1939 г. Четырьмя годами ранее письменный отзыв Игнатия Юлиановича гласит, что «совокупность печатных работ Ковалевского делает его достойным степени доктора»; лишь разнооб-

[1] Движущий дух (*лат.*).

разие тематики, затрудняющее определение области преимущественных интересов, склонило в ту пору чашу весов к диплому кандидата, который, по представлению академика, Ковалевский получил без защиты диссертации.

И эти лестные оценки адресованы человеку, едва переступившему сорокалетний рубеж и не прошедшему спокойной и строгой школы в том славном саду Академа, из которого вышли величайшие русские востоковеды, — в Петроградском университете. Судьба подарила сыну московского инженера лишь два неполных года занятий в Лазаревском институте восточных языков — они прекратились в 1918 г. в связи с ликвидацией этого учреждения. Конечно, общение с такими учителями, как Аттая, Гордлевский и Крымский, не могло пройти бесследно для целеустремленного юноши. Но лишь собственная одаренность и воля позволили ему остаться востоковедом и впоследствии достичь уровня высшей квалификации.

Так ли это, не в плену ли мы у юбилейных слов? (Ковалевскому в эти дни исполнилось бы восемьдесят лет). Вглядимся в последовательные вехи этой жизни.

Вынужденный прервать свое востоковедное образование, Ковалевский в том же 1918 г. поступает в Харьковский университет, который он окончил в 1921 г. по разряду романо-германских литератур. Затем следуют преподавание немецкого и французского языков в средней школе (1921—1922 гг.), аспирантура по истории украинской культуры (1922—1924 гг.), чтение лекций по истории литературы в Харьковском институте народного образования (1924—1926 гг.) при одновременном заведовании издательством, работа в научно-исследовательской кафедре украинской культуры в Институте материальной культуры (Харьков, 1924—1933 гг.). Казалось бы, путь выбран, перспектива очерчена. Однако еще в начале своей деятельности германист и украиновед выступает инициатором создания в Харькове, тогдашней столице Советской Украины, курсов восточных языков, где он возглавил учебную часть. С 1930 по 1933 г. он, одновременно с работой по прямой специальности, научный сотрудник Харьковского Института востоковедения, следующий год застает его на посту старшего библиотекаря восточного отдела библиотеки имени Короленко.

Дилетантство? Широкая, но поверхностная увлеченность? Нет, о востоковедных работах Ковалевского, появ-

ляющихся в десятилетие 1925—1935 гг. рядом с его «Историей украинской критики» и «Опытом марксистского исследования „Фата Моргана“ Коцюбинского», — таких работах, как «Амин Рейхани. Исследование творчества», «Просветительская политика в современной египетской школе», «Описание восточных рукописей Харьковского университета», обзор политических событий на арабском Востоке, рецензия на перевод «1001 ночи» М. А. Салье и на изыскания П. К. Жузе по научной терминологии арабов, — строгий и нелицеприятный Игнатий Юлианович Крачковский скажет: «остроумный подход и тщательная проработка материала», «умелая работа по описанию рукописей». Исследование Ковалевского «Политика просвещения современного египетского правительства» характеризуется Игнатием Юлиановичем как «самое полное в европейской литературе». Такую оценку из уст одного из крупнейших ориенталистов нашего века мог получить лишь тот, кто был рожден арабистом и оставался им и тогда, когда основное время ему приходилось посвящать далеким от востоковедения работам.

Арабистические интересы, все более зрелые и отчетливые, настоятельно влекли Ковалевского в Ленинград, где в сени строгой филологической школы Розена и Крачковского его дарование могло раскрыться до конца. В 1934 г. он стал сотрудником Государственного музея этнографии, а через год переступил порог Арабского кабинета Института востоковедения.

Здесь Андрей Петрович сразу взял в свои руки один из самых актуальных участков работы: изучение арабских источников по истории народов СССР. Это — сочинения средневековых географов и путешественников: Масу́ди, о достоверности данных которого для восточноевропейских территорий Андрей Петрович поставил вопрос впервые в науке, затем Гарна́ти, Ибрахи́ма ибн Яку́ба, Абу́ Ду́ляфа. Более всего, однако, нового сотрудника увлекла работа над текстом Ибн Фадла́на о путешествии из Багдада на Волгу в 921 году, которому он посвятит будущую докторскую диссертацию. Почему? «Среди писателей девятого и десятого веков, писавших о нашей стране, — отмечает он в предисловии к своему исследованию, — нет равного Ибн Фадлану. Его сочинение, отличающееся широтой охвата всего виденного, яркостью опи-

сания, соединенной с большой наблюдательностью, живым интересом к вопросам социальных отношений, быта, материальной культуры и верований, привлекало внимание исследователей уже более ста лет тому назад, когда оно было известно лишь в отрывочных выписках... Тем более возросло его значение как исторического источника после получения в 1935 году Академией наук фотографии открытой в Мешхеде рукописи более или менее полного его текста».

И далее:

«Критический перевод сочинения Ибн Фадлана и углубленное его изучение весьма важны также потому, что уже более ста лет богатейший материал его рассказов играет выдающуюся роль в идеологической борьбе, развернувшейся вокруг вопросов этногенеза народов нашей страны и истории их культуры».

В этих словах — весь Ковалевский, ученый-новатор, исходивший из того, что наука — не самоцель, что она призвана служить жизни. Это он в 1948 году, единственный среди арабистов, осмелится сказать о главе дореволюционной арабистической школы перед лицом преданных этой школе подчас до фанатизма: Розен велик, но во многом нам чужд. Книгу, посвященную его памяти, следовало выпустить с расчетом не только на специалистов, но и на широкие круги советских читателей, которым нужно доходчивым языком объяснить всю сложность и противоречивость этой натуры.

* * *

Подготовка первого полного (или, как осторожно говорит Ковалевский, «более или менее полного») издания книги Ибн Фадлана о путешествии на Волгу потребовала исключительно скрупулезной работы; достаточно сказать, что перевод 34 страниц арабского текста раскрыт в 1237 примечаниях, ряд которых представляет небольшие самостоятельные этюды. Свои комментарии, сделанные с привлечением большого материала извне, Ковалевский считал основной частью выполненного исследования. Что издатель был хорошо подготовлен к решению поставленной темы, говорит отзыв Крачковского, отмечающий у Андрея Петровича «широту исторической подготовки, умение быстро и самостоятельно ориентироваться в очень

сложных вопросах соотношения арабских и других источников». Поэтому не приходится удивляться тому, что выполнение всей работы заняло в общем лишь два года — 1936—1937, ибо полученная из Ирана в 1935 г. рукопись Ибн Фадлана была издана уже в начале 1939 г. Осенью 1944 г., будучи благодаря усилиям Крачковского зачислен в академическую докторантуру, Ковалевский расширяет свою диссертацию за счет привлечения новых материалов, и в 1951 г. она, охарактеризованная Крачковским как «крупное событие» в истории нашей арабистики, приносит своему автору степень доктора исторических наук. Таков был закономерный итог блистательного десятилетия поисков и побед. «Андрей Петрович Ковалевский, — писал Крачковский в 1947 г., — один из наших крупнейших знатоков арабских источников для истории народов СССР и Восточной Европы, который удачно объединяет серьезную арабистическую подготовку с большим тактом историка».

* * *

Зрелым арабистом, после почти двадцатилетнего отсутствия, вернулся Ковалевский из Ленинграда, где только что не стало Крачковского, в Харьков. Здесь, в университете, он становится профессором, заведующим кафедрой, заслуженным деятелем науки Советской Украины. Последняя четверть его жизни наполнена лекциями, скрупулезным разбором разных диссертаций и занятиями с аспирантами, которым он передает опыт и вдохновение ученого — то, без чего нельзя жить в науке. Ему приходится выступать в качестве то медиевиста-западника, то универсального востоковеда, однако и оторванный от арабистических столиц, он не перестает быть прежде всего арабистом. Но — «панта рей»;[2] забытый за делами, но неотвратимый, подкрадывается вечер жизни. Дряхлеющее тело начинают осаждать недуги, приходят нарастающие боли и серия операций. Человек, за много лет не утоливший жажды творчества, стоически переносит все испытания и продолжает работу.

Поздней осенью, 29 ноября 1969 года, завершается эта сложная, полная сильным и ровным пламенем жизнь,

[2] Все течет (*греч.*).

которой нехватило лишь полутора месяцев, чтобы дойти до 75-летнего рубежа.

* * *

В предсмертном письме ко мне Ковалевский писал:

«Дорогой Теодор Адамович!... Вообще-то я не люблю юбилеев, особенно если к тому же сам не сможешь на нем присутствовать и хоть чем-либо отблагодарить друзей, пришедших выразить тебе свои дружеские чувства. А ведь я при нынешнем моем состоянии приехать в Ленинград не смогу! Все же мне кажется, что заседание, которое Вы планируете, может принести ту пользу, что ленинградские товарищи по научной работе узнают на нем о некоторых моих изданиях и подготовленных работах, которые, так сказать, „не доходят" обычно из так называемой „периферии"... Поэтому я позволю себе прислать Вам в ближайшие дни некоторые материалы, которые будут вполне достаточны для Вашего сообщения в упомянутом заседании.

А именно:

1. „Антология литератур Востока", ХГУ, 1961 г. Большая книга с переводами с 18 восточных языков и большой моей вводной статьей о востоковедении в Харькове за 200 лет, комментариями и т. д. Об этой книге и ее странной судьбе я напишу Вам впоследствии.

2. Чуваши и булгары по данным Ибн Фадлана. Чебоксары, 1954 г. Книга, имевшая немалое значение для историков Чувашии...

3. Сейчас я усиленно заканчиваю большую работу, начатую еще в 1934 году, „Аль-Масуди о западных славянах и их соседях"... Так вот, иншаллах[3] я все это закончу до конца текущего 1969 года, то об этом можно будет доложить на юбилейном заседании.

Вот, мне бы хотелось, чтобы об этих моих работах стало известно моим коллегам. Что же касается самого „юбилея", то это, право же, „от лукавого" и „суета сует".

На этом кончаю, ибо устал... Сейчас пойду лягу после тяжелой работы по писанию письма.

Желаю Вам здоровья и всех жизненных благ. Привет всем, кто меня помнит в Ленинграде».

---

[3] Если (*араб.*).

Не только в Ленинграде витает образ Андрея Петровича: наука, где бы ни бились преданные ей сердца, навсегда сохранит память о человеке, который бескорыстно и самоотверженно отдал ей все, чем был так щедро наделен сам.

УЛИЦА ОРБЕЛИ

Трамваи, идущие на крайний северо-восток Ленинграда, миновав проспект Энгельса, круто сворачивают вправо и начинают подниматься к Политехническому институту. Шеренги старых потемневших зданий все чаще прорывает светлое многометровье свежих корпусов.

— Следующая остановка — улица Орбели!

Два брата Орбели, физиолог и востоковед, имя которых дано бывшей Большой Объездной улице, были выбраны академиками в один и тот же день, 1 июня 1935 года. Леон Абгарович, ученик отца теории условных рефлексов Павлова, работал в Институте экспериментальной медицины, возглавлял Военно-медицинскую академию и Физиологический институт. Иосиф Абгарович, питомец творца яфетической теории Марра, двадцать лет руководил Эрмитажем, а дни свои окончил на посту заведующего ленинградским отделением Института востоковедения.

Он пришел к нам в трудный час, когда уже померкло яркое созвездие старых академиков-ориенталистов, чьи труды принесли отечественной науке всемирную славу, когда остро ощущалась утрата в тяжкую годину войны большой части среднего звена специалистов, когда силами нового поколения советских арабистов и синологов, индологов и японистов нужно было восстановить и развить надломленные традиции большой науки. Иосиф Абгарович отдался решению вставшей перед ним задачи со всей страстностью, которая лежала в основе его характера, со всем энтузиазмом, который был заложен в нем его южной природой. Крохотная комнатка, в которой он работал, являлась оперативным штабом боевых действий. Здесь рассматривались темы первоочередных научных исследований, обсуждались кандидатуры исполнителей и сроки; визировались в печать готовые работы; решались кадровые вопросы; намечались пути систематического

повышения ученой квалификации и политической образованности сотрудников; развязывались конфликтные узлы; разрешались финансовые и хозяйственные дела. Заведующий, с утра до вечера окруженный людьми, вникал во все тонкости разнообразных проблем. Опыт организатора науки, приобретенный за долгие годы работы в Эрмитаже, конечно, очень пригодился на новом месте. Академик был во всеоружии, дело постепенно налаживалось, и он молодел, видя все более зримые успехи своего коллектива. Лишь близкие знали, чего стоило ему постоянное напряжение: завершался семидесятый год жизни.

Иосифу Абгаровичу было мало множества повседневных забот, ибо частью их он, вероятно, тяготился; сколь кипучей и разносторонней ни была бы натура, профессия ученого неизбежно кладет на нее свой отпечаток, человек становится книжником и подчас неслышно тоскует о том, что остается мизерное время для собственных исследований. Такие, как Орбели, утишают горечь мыслью: «Ничего, это все пока, пока... Вот, поднимется из руин сильный институт, отладим всю эту сложную машину, тогда...». На возраст, конечно, оглядки нет: Орбели был прежде всего ученым. Он часто собирал нас для бесед, чтобы «отвести душу», ставя себе при этом, конечно, задачу нравственного воспитания молодого коллектива.

Мы сходились в громадный зал бывшего великокняжеского дворца; широкогрудая Нева и золотой шпиль Петропавловского собора, видневшиеся за пятью высокими окнами и балконом с резной решеткой, отражались в окруженных лепными амурами зеркалах. Сейчас тут помещалась читальня нашей институтской библиотеки, строгая тишина царила в стенах, где когда-то гремел оркестр и переговаривались по-французски разряженные пары танцующих. Мы усаживались за большой, в половину зала, рабочий стол, Иосиф Абгарович неспешно входил через боковую дверь и садился с нами рядом.

— Дорогие товарищи, сегодня мне хотелось поговорить с вами вот о чем...

Он так и обращался — не «уважаемые коллеги», как важно и холодно, с любезной и пустой улыбкой, роняют иной раз ученые мужи, стремящиеся выказать мнимую респектабельность; он говорил: «дорогие товарищи», и были в этих простых и привычных словах и гражданский пафос, и безыскусственная сердечность. С неулыб-

чивым лицом, внутренне сосредоточенный, он раздумчиво, неторопливо, глядя не в бумажки, а только в свои мысли, называл нам устои этики ученого, излагал свои суждения — всегда острые, бескомпромиссные, принципиальные — и вспоминал свою поучительную жизнь.

Он ценил и берег все живые силы науки. Его любовь к нам была взыскательной и разборчивой. Благодарная память воскрешает один эпизод за другим.

* * *

Улица Орбели.

Мы все прошли по ней — все, кто пришел в Институт востоковедения до 2 февраля 1961 года, когда навеки сомкнулись глаза Иосифа Абгаровича.

Нет, мы и сейчас идем по ней. Как и по улицам других учителей наших.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если бы меня спросили, какие из своих работ я считаю достойными памяти в науке, я назвал бы всего три книжки: «Арабы и море», «У моря арабистики» и «Воспоминания арабиста».

— Позвольте, — сказали бы мне, — а «Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида», первая в арабистике публикация памятников морской литературы? А работа по подготовке критического издания арабской навигационной энциклопедии XV в. — это скрупулезное исследование в пяти томах, унесшее столько ваших сил, но пока еще не увидевшее света? А монография об аль-Махри, также полностью готовая к печати? А доклады ваши на международных конгрессах, статьи и этюды. . .

И я бы ответил:

— Да, как отмечала критика, эти работы внесли в науку довольно много нового. Однако, написанные строгим профессиональным языком, изобилующие специальной терминологией и техническими выкладками, они в общем доступны лишь сравнительно узкому кругу специалистов. Между тем, каждое научное свершение должно служить всем людям — вспомните о рентгеновских лучах или электронных вычислительных машинах. Я и ста-

рался в названных мною книжках передать то, что удалось мне добыть, всем людям; по-моему, это и есть конечная цель ученого — ведь и малый опыт, если он истинный, пополняет сокровищницу человеческой души, помогает человеку идти к внутреннему совершенству. Не знаю, насколько мне удалось быть полезным обществу, которому каждый из нас, востоковедов, столь многим обязан, но я к этому стремился. Кстати, советское государство удостоило Игнатия Юлиановича Крачковского Государственной премии первой степени именно за его научно-популярную книгу «Над арабскими рукописями», снискавшую ученому всенародное признание. Поток добрых, сердечных слов, идущий от читателей моих работ широкого плана, говорит о том, что мысль, высказанная в начале этого раздела, имеет свои основания.

ЛИТЕРАТУРА,

рекомендуемая читателям, желающим пополнить свои знания в области арабистики

Беляев Е. А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. М., 1965.

Климович Л. И. Ислам. М., 1962.

Крачковский И. Ю. Избранные сочинения в 6-ти т.
т. I: Над арабскими рукописями. (Листки воспоминаний о книгах и людях). Арабистика и вопросы истории культуры народов СССР. М.—Л., 1955;
т. II: Арабская средневековая художественная литература (поэзия и проза). М.—Л., 1956;
т. III: Новая арабская литература. Русско-арабские литературные связи. М.—Л., 1956;
т. IV: Арабская географическая литература. М.—Л., 1957;
т. V: История русской и советской арабистики. М.—Л., 1958;
т. VI: Ибн ал-Му'тазз. — Описание рукописей. — Арабская письменность на Северном Кавказе. М.—Л., 1960.

Куделин А. Б. Классическая арабо-испанская поэзия (X—XII вв.). М., 1973.

Массэ А. Ислам. Пер. с франц. М., 1961.

Мец А. Мусульманский Ренессанс. Пер. с нем. М., 1966.

Фильштинский И. М. Арабская классическая литература. М., 1965.

Фильштинский И. М., Шидфар Б. Я. Очерк арабо-мусульманской культуры (VII—XII вв.). М., 1971.

Шумовский Т. А. Арабы и море. М., 1964.

Эберман В. А. Арабы и персы в русской поэзии. [Журнал] «Восток», 1923, кн. 3, с. 108—125.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

На обложке:

Арабеска. Надпись в круге воспроизводит средневековое арабское изречение: «Бездеятельный ученый подобен облаку, не источающему дождя». (Рисунок выполнен по эскизу автора книги).

На вклейках:

Н. В. Юшманов в годы учения в петербургской гимназии Г. К. Штемберга. В это время (1912 г.) он перевел на язык идо пушкинского «Пророка» и до поступления в университет (1913 г.) опубликовал более сорока работ по лингвистике.

И. П. Жданова-Купалова (1916—1957) — одна из лучших учениц членов-корреспондентов АН СССР Н. В. Юшманова и Д. А. Ольдерогге, автор хрестоматии языка суахили (Восточная Африка), доцент Ленинградского университета — в период работы над кандидатской диссертацией.

И. Ю. Крачковский в последние годы жизни. Редкий снимок, отсутствующий в шеститомном собрании избранных работ ученого.

И. Ю. Крачковский за работой в домашнем кабинете. Редкий снимок первых послевоенных лет.

А. П. Ковалевский в период завершения работы над докторской диссертацией о путешествии Ибн Фадлана из Багдада на Волгу в X в. (1948—1949 гг.).

И. А. Орбели. *С портрета работы худ. Г. С. Верейского.* (Творческий вариант, хранящийся в частном собрании).

В тексте:

с. 35: в часы отдыха от работы над рукописями арабист может предаться другому увлекательному занятию — разгадыванию арабских орнаментов, так называемых арабесок. Ислам запрещает портретную живопись, поэтому художественное творчество арабских народов замкнулось в орнаментальном искусстве и достигло здесь больших высот. Перед нами — изящный медальон, где по кругу выписан полный текст 112-й суры (главы) Корана.

с. 63: страница из ленинградского уника — рукописи трех лоций Ахмада ибн Маджида. Рукопись хранится в Ленинградском отделении Института востоковедения Академии наук СССР.

СОДЕРЖАНИЕ

Теодор Адамович Шумовский

ВОСПОМИНАНИЯ АРАБИСТА

Утверждено к печати
Редколлегией серии научно-популярных изданий
Академии наук СССР

Редактор издательства В. П. Грицкевич
Художник И. Н. Кошеровский
Технический редактор М. Н. Кондратьева
Корректоры Г. А. Александрова и Ж. Д. Андронова

Сдано в набор 30/I 1976 г. Подписано к печати 22/VI 1977 г. Формат 84×108 1/32. Бумага № 3. Печ. л. 5 3/8 + 2 вкл. (1/8 печ. л.) = 9.24 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 8.82. Изд. № 5977. Тип. зак. № 966. М-24127. Тираж 25000. *Цена 60 коп.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1

1-я тип. издательства «Наука» 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

60 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО·НАУКА·
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ